



Хулио Кортасар

**Игра в классики**

1963

## **Кортасар Х.**

Игра в классики / Х. Кортасар — 1963

В некотором роде эта книга – несколько книг... Так начинается роман, который сам Хулио Кортасар считал лучшим в своем творчестве. Игра в классики – это легкомысленная детская забава. Но Кортасар сыграл в нее, будучи взрослым человеком. И после того как его роман увидел свет, уже никто не отважится сказать, что скакать на одной ножке по нарисованным квадратам – занятие, не способное изменить взгляд на мир.

## Содержание

Таблица для руководства	5
По ту сторону	7
1	7
2	12
3	15
4	18
5	22
6	24
7	25
8	26
9	27
10	30
11	31
12	33
13	37
14	39
15	41
16	45
17	48
18	52
19	55
20	58
21	65
22	69
23	71
Конец ознакомительного фрагмента.	85

# Хулио Кортасар. Игра в классики

## Таблица для руководства

Эта книга в некотором роде – много книг, но прежде всего это две книги. Читателю представляется право выбрать одну из двух возможностей:

Первая книга читается обычным образом и заканчивается [56 главой](#), под последней строкою которой – три звездочки, равнозначные слову *Конец*. А посему читатель безо всяких угрызений совести может оставить без внимания все, что следует дальше.

Вторую книгу нужно читать, начиная с [73 главы](#), в особом порядке: в конце каждой главы в скобках указан номер следующей. Если же случится забыть или перепутать порядок, достаточно справиться по приведенной таблице:

[73](#) – [1](#) – [2](#) – [116](#) – [3](#) – [84](#) – [4](#) – [71](#) – [5](#) – [81](#) – [74](#) – [6](#) – [7](#) – [8](#) – [93](#) – [68](#) – [9](#) – [104](#) – [10](#) – [65](#) – [11](#) – [136](#) – [12](#) – [106](#) – [13](#) – [115](#) – [14](#) – [114](#) – [117](#) – [15](#) – [120](#) – [16](#) – [137](#) – [17](#) – [97](#) – [18](#) – [153](#) – [19](#) – [90](#) – [20](#) – [126](#) – [21](#) – [79](#) – [22](#) – [62](#) – [23](#) – [124](#) – [128](#) – [24](#) – [134](#) – [25](#) – [141](#) – [60](#) – [26](#) – [109](#) – [27](#) – [28](#) – [130](#) – [151](#) – [152](#) – [143](#) – [100](#) – [76](#) – [101](#) – [144](#) – [92](#) – [103](#) – [108](#) – [64](#) – [155](#) – [123](#) – [145](#) – [122](#) – [112](#) – [154](#) – [85](#) – [150](#) – [95](#) – [146](#) – [29](#) – [107](#) – [113](#) – [30](#) – [57](#) – [70](#) – [147](#) – [31](#) – [32](#) – [132](#) – [61](#) – [33](#) – [67](#) – [83](#) – [142](#) – [34](#) – [87](#) – [105](#) – [96](#) – [94](#) – [91](#) – [82](#) – [99](#) – [35](#) – [121](#) – [36](#) – [37](#) – [98](#) – [38](#) – [39](#) – [86](#) – [78](#) – [40](#) – [59](#) – [41](#) – [148](#) – [42](#) – [75](#) – [43](#) – [125](#) – [44](#) – [102](#) – [45](#) – [80](#) – [46](#) – [47](#) – [110](#) – [48](#) – [111](#) – [49](#) – [118](#) – [50](#) – [119](#) – [51](#) – [69](#) – [52](#) – [89](#) – [53](#) – [66](#) – [149](#) – [54](#) – [129](#) – [139](#) – [133](#) – [140](#) – [138](#) – [127](#) – [56](#) – [135](#) – [63](#) – [88](#) – [72](#) – [77](#) – [131](#) – [58](#) – [131](#)

*И, воодушевленный надеждой быть полезным, в особенности молодежи, а также способствовать преобразованию нравов в целом, я составил это собрание максим, советов и наставлений, кои являются основой той вселенской морали, что столь способствует духовному и мирскому счастью всех людей, каковыми бы ни были их возраст, положение и состояние, равно как процветанию и доброму порядку не только гражданской и христианской республики, где мы живем, но и благу любой другой республики или правительства, каковых самые глубокомудрые философы света пожелали бы измыслить.*

*Дух Библии и Вселенской Морали, извлеченный из Ветхого и Нового завета.*

*Писано на тосканском аббатом Мартини с приведением цитат.*

*На кастильский переведено ученым клериком Конгрегации святого Кайетано.*

*С разрешения.*

*Мадрид: Напечатано Аснаром, 1797.*

*Всегда, чуть похолодает, точнее, в середине осени, меня берет дикое желание думать о чем-нибудь Икс-центрическом и Икс-зотическом, вроде, к примеру, хотелось бы мне стать ласточкой, чтоб сорваться да и махнуть в жаркие страны, или скукожиться муравьишкой да забиться в норку и сидеть себе там, грызть пищу, запасенную с лета, а то извернуться змеей наподобие тех, что держат в зоопарке в стеклянных клетках, чтоб не окаменели от холода, как бывает-случается с людишками, которые не могут купить себе одежды,*

*больно дорого, и согреться не могут, потому как керосина нет, или угля, или дров, или бензина всякого, да и денег нету, ведь ежели в карманах у тебя позвякивает, ты можешь войти в любой подвальчик и попросить себе граппы, а она ой как согревает, только нельзя Зло-употреблять, потому как Зло-употребил — и сразу во Зло и в порок войдешь, а уж от порока до падения телесного и морального один шаг, и коли покатился по роковой наклонной плоскости к дурному поведению во всех смыслах, так уж никто на белом свете не спасет тебя от помойки людской и никто тебе руки не протянет, чтобы вытащить из вонючего болота, в котором барахтаешься, это почитай как с кондором: пока молод, парит-летает по горным вершинам, а как состарится, падает камнем вниз, чисто бомбардировщик пикирующий, у которого моральный мотор отказал. Хорошо бы то, что пишу, сослужило кому службу, чтоб посмотрел он на свое поведение, а не каялся бы, когда поздно уже и все к чертовой бабушке покатилось по его же собственной вине!*

**Сесар Бруто.**

*Кем бы мне хотелось быть, если бы я не был тем, кто я есть (глава «Пес Святого Бернардо»).*

## По ту сторону

*Rien ne vous tue un homme que d'être obligé de représenter un pays [1].*  
*Жак Ваше, письмо к Андре Бретону*

### 1

Встречу ли я Магу? Сколько раз, стоило выйти из дому и по улице Сен добраться до арки, выходящей на набережную Конт, как в плывущем над рекою пепельно-оливковым воздухе становились различимы контуры, и ее тоненькая фигурка обрисовывалась на мосту Дезар; случалось, она ходила из конца в конец, а то застывала у железных перил, глядя на воду. И так естественно было выйти на улицу, подняться по ступеням моста, войти в его узкий выгнутый над водою пролет и подойти к Маге, а она улыбнется, ничуть не удивясь, потому что, как и я, убеждена, что нечаянная встреча – самое чайное в жизни и что заранее договариваются о встречах лишь те, кто может писать друг другу письма только на линованной бумаге, а зубную пасту из тюбика выжимает аккуратно, с самого дна.

Но теперь ее на мосту наверняка нет. Ее тонкое лицо с прозрачной кожей, наверное, мелькает теперь в старых подъездах квартала Марэ, а может, она разговаривает с торговкой жареным картофелем или ест сосиски на Севастопольском бульваре. И все-таки я поднялся на мост, и Маги там не было. Теперь Мага не попадалась мне на пути, и, хотя мы знали, кто из нас где живет, и знали каждый закоулок в наших типичных парижских псевдостуденческих комнатухах, знали все до одной почтовой открытки, эти оконца в мир Брака, Гирландайо, Макса Эрнста, припиленные на аляповатых карнизах или крикливых обоях, тем не менее мы не пошли бы друг к другу домой. Мы предпочли встречаться на мосту, на террасе кафе или в каком-нибудь облюбованном кошками дворике Латинского квартала. Мы бродили по улицам и не искали друг друга, твердо зная: мы бродим, чтобы встретиться. О Мага, в каждой женщине, похожей на тебя, копится, точно оглушительная тишина, острое стеклянное молчание, которое в конце концов печально рушится, как захлопнутый мокрый зонтик. Как зонтик, Мага, наверное, ты помнишь тот старый зонтик, который мы принесли в жертву оврагу в парке Монсури промозглым мартовским вечером. Мы зашвырнули его; ты нашла этот зонтик на площади Согласия, он уже был порван, но ты им пользовалась всю, особенно продираясь сквозь толпу в метро или автобусе, всегда неловкая, рассеянная, занятая мыслями о пестром костюмчике или причудливых узорах, которые начертили две мухи на потолке, а в тот вечер вдруг хлынул ливень, едва мы вошли в парк, и ты уже собиралась гордо раскрыть свой зонтик, как вдруг в руках у тебя разразилась катастрофа, и нам на головы обрушились холодные молнии, черные тучи, рваные лоскутья и сверкающие, вылетевшие из гнезд спицы; мы смеялись как сумасшедшие под проливным дождем, а потом решили, что зонтик, найденный на площади, должен умереть достойным образом в парке и не может быть неблагородно выброшен на помойку или попросту за ограду; и тогда я сложил его, насколько это было возможно, мы поднялись на самое высокое место в парке, туда, где перекинут мост над железной дорогой, и с высоты я что было сил швырнул зонт на дно заросшего мокрой травой оврага, под твой, Мага, крик, напомнивший мне проклятия валькирии. Он пошел на дно оврага, словно корабль, над которым сомкнулись зеленые воды, зеленые бурные воды, а la mer qui est plus félonesse en été qu'en hiver [2], коварные волны, Мага, – мы еще долго перечисляли все названия его последнего

---

<sup>1</sup> Ничто так не убивает человека, как необходимость представлять какую-нибудь страну (фр.).

<sup>2</sup> Море, которое летом коварнее, чем зимой (фр.).

пристанища, влюбленные в Жуэнвиля и в парк, и, держа друг друга в объятиях, были похожи на мокрые деревья или на актеров какого-нибудь смешного венгерского фильма. И он остался там, в траве, крошечный и черный, точно раздавленный жучок. Не шелохнулся, и ни одна из его пружин не распрямилась, как бывало. Все. С ним – кончено. А нам, Мага, все было нипочем.

Зачем я пришел на мост Дез-ар? Кажется, в этот декабрьский четверг я собирался отправиться на правый берег и выпить вина в маленьком кафе на улице Ломбар, где мадам Леони, разглядывая мою ладонь, обещает мне дальнюю дорогу и неожиданные радости. Я никогда не водил тебя к мадам Леони показать твою ладонь, может, боялся, как бы она не разгадала по ней правду обо мне, потому что твои глаза, в которые я смотрелся, всегда были ужасным зеркалом, а сама ты, как машина, только и умела повторять, и то, что мы называли любить друг друга, для меня было стоять перед тобою, Мага, с желтым цветком в руке, а ты держала две зеленые свечи, и ветер сек наши лица медленным дождем отречений и разлук и засыпал шквалом использованных билетиков на метро. Итак, я никогда не водил тебя к мадам Леони, Мага; и я знаю, ты сама сказала мне: тебе не хочется, чтобы я видел, как тыходишь в маленькую книжную лавчонку на улице Верней, где скрюченный старик заполняет тысячи каталожных карточек и знает все, что только можно знать по историографии. Ты приходила туда поиграть с котенком, старик впускал тебя и ни о чем не спрашивал, довольный и тем, что иногда ты доставала ему книгу с самой верхней полки. И ты отогревалась у печки с большой черной трубой и не хотела, чтобы я знал о том, что ты грелась у того огня. Все это следовало сказать в свое время, но вот беда: момент для этого выбрать было трудно, и даже теперь, облокотившись на перила моста и глядя на проплывающий внизу кораблик темно-вишневого цвета, аккуратненький, точно большая, сияющая чистотой ложка, где на корме женщина в белом фартучке развешивает на проволоке белье, глядя на его выкрашенные зеленой краской окошечки с занавесками в духе Гензеля и Гретель, даже теперь. Мага, я спрашиваю себя, имеет ли смысл это хождение вокруг да около, потому что на улицу Ломбар мне удобнее было бы добраться через мост Сен-Мишель и мост О-Шанж. Окажись ты здесь сегодня, как случилось столько раз, я бы не сомневался, что это имеет смысл, но тебя нет, и, желая окончательно принизить собственное поражение, я называю это хождением вокруг да около. Теперь, подняв воротник куртки, придется идти по набережной мимо больших магазинов до Шатле, пройти в фиолетовой тени башни Сен-Жак и подняться вверх по моей улице, думая о том, что я тебя не встретил, и еще – о мадам Леони.

Да, в один прекрасный день я приехал в Париж и некоторое время жил в долг, поступая так, как поступают другие, и смотря на все теми глазами, какими смотрят все остальные. И однажды ты вышла из кафе на улице Шерш-Миди, и мы заговорили. В тот вечер все было неладно, потому что мое аргентинское воспитание мешало мне без конца переходить с одной стороны улицы на другую ради того, чтобы посмотреть на какую-то чепуху, выставленную в плохо освещенных витринах на улицах, названий которых я уже не помню. Я нехотя плелся за тобой, и ты показалась мне тогда слишком бойкой и невоспитанной, плелся, пока ты не устала оттого, что никак не могла устать; мы забрались в кафе на Буль-Миш, и ты залпом, между двумя сдобными булочками, рассказала мне целый кусок своей жизни.

Мог ли я заподозрить тогда, что все это, казавшееся выдумкой, окажется сущей правдой: ночной бар, сцена из Фигари, корзина с фиалками, мертвенно-бледные лица, голод и побои в углу. Потом-то я поверил: были на то причины и была мадам Леони, которая, разглядывая мою ладонь, уже познавшую жар твоей груди, повторила все это почти твоими словами. «Где-то она сейчас страдает. Она всегда страдала. Она очень веселая, обожает желтый цвет, ее птица – дрозд, любимое время – ночь, любимый мост – Дез-ар». (Кораблик темно-вишневого цвета, Мага, почему мы не уплыли на нем, когда было еще не поздно?)

И смотри-ка, не успели мы познакомиться, как жизнь принялась старательно строить козни, чтобы развести нас. Ты не умела притворяться, и я очень скоро понял: чтобы видеть тебя такой, какой мне хочется, необходимо сначала закрыть глаза, и тогда сперва что-то вроде



желтых звездочек как бы проскакивало в бархатном желе, затем – красные всплески веселья на целые часы, и я постепенно входил в мир Маги, который был с начала до конца неуклюжим и путаным, но в нем были папоротники, пауки Клее, и цирк Миро, и припорошенные пеплом зеркала Виейра да Силвы, мир, в котором ты двигалась точно шахматный конь, который бы вздумал ходить как ладья, пошедшая вдруг слоном. Тогда-то мы и зачастили в кино клуб на немые фильмы, потому что я – человек образованный, не так ли, но ты, бедняжка, ровным счетом ничего не понимала в этих пожелтевших судорожных страстях, приключившихся еще до твоего рождения, в этих дряхлых пленках, на которых мечутся мертвецы; но вдруг среди них проскальзывал Гарольд Ллойд, и ты разом стряхивала дремоту и под конец была твердо убеждена, что все замечательно и что, конечно, Пабст и Фриц Ланг в большом порядке. Меня немного раздражало твое пристрастие к совершенству, твои рваные туфли и вечное нежелание принимать то, что принять можно. Мы ели рубленные бифштексы на углу около Одеона, а потом на велосипеде мчались на Монпарнас в первую попавшуюся гостиницу, лишь бы добраться до постели. Но бывало, что мы доезжали до Порт-д-Орлеан и подробно знакомились с пустырями, лежавшими за бульваром Журдан, где иногда в полночь собирались члены Клуба Змеи поговорить со слепым ясновидцем, вот ведь какой возбуждающий парадокс! Мы оставляли велосипеды на улице и брели по пустырю, то и дело останавливаясь поглядеть на небо, потому что это одно из немногих мест в Париже, где небо куда ценнее земли. Усевшись на кучу мусора, мы курили, и Мага ласково перебирала мои волосы или мурлыкала песенку, вовсе не придуманную, дурацкую песенку, прерывавшуюся вздохами или воспоминаниями. А я тем временем думал о вещах незначительных, этим методом я начал пользоваться много лет назад, лежа в больнице, и чем дальше, тем более плодотворным и необходимым он мне казался. С большим трудом, соединяя второстепенные образы, стараясь вспомнить запахи и лица, я в конце концов все-таки извлекал из ничто коричневые ботинки, которые я носил в Олаваррии в 1940 году. У них были резиновые каблук, а подошва такая тонкая, что в дождь вода хлопала даже в душе. Стоило зажать в кулаке воспоминания эти ботинки, как остальное приходило само: лицо доньи Мануэлы, например, или поэт Эрнесто Моррони. Но этих я тут же отбрасывал, потому что по условиям игры вынимать из прошлого следовало только незначительное, только ничтожное, сгинувшее. Меня трясло от мысли, что ничего больше не удастся вспомнить, подьедало желание плюнуть и не мучиться, отказаться от дурацкой попытки поцеловать время, и все-таки кончалось тем, что рядом с этими ботинками я видел консервную банку с «Солнечным чаем», которым мать поила меня в Буэнос-Айресе. И ложечку для чая, ложечку-мышеловку, в которой черненькие мышки-чаинки сгорали заживо в чашке кипятка, выпуская шипящие пузырьки. Убежденный в том, что память хранит все, а не одних только Альбертин или великие годовщины сердца и почек, я изо всех сил старался припомнить, что было на моем рабочем столе во Флоресте, какое лицо у незапоминающейся девушки по имени Хекрептен и сколько ручек лежало в пенале у меня, пятиклассника, и под конец меня било как в лихорадке (потому что, сколько было ручек, вспомнить не удавалось, я знаю, что они были в пенале, в специальном отделении, но сколько их было и когда их должно было быть две, а когда – шесть, никак не вспоминалось), и тогда Мага, целуя и дыша в лицо сигаретным дымом и жаром, приводила меня в себя и мы смеялись, поднимались на ноги и снова брели между мусорных куч, отыскивая наших соклубников. Уже тогда я понял: искать – написано мне на звездах, искать – эмблема тех, кто по ночам без цели выходит из дому, и оправдание для всех истребителей компасов. До одурения мы говорили с Магой о патафизике, потому что с ней приключались (и такой была наша встреча, как и тысячи других вещей, столь же темных, как фосфор), – с ней без конца приключались вещи из ряда вон и ни в какие рамки не укладывающиеся, и вовсе не потому, что мы презирали других и считали себя вышедшими из употребления Мальдорорами или какими-нибудь исключительными Мельмотами-Скитальцами. Я не думаю, чтобы светляк испытывал чувство глубокого удовлетворения на том неоспоримом основании, что он – одно

из самых потрясающих чудес в спектакле природы, но представим, что он обладает сознанием, и станет ясно, что всякий раз, едва его брюшко начинает светиться, насекомого должно приятно щекотать чувство собственной исключительности. Вот и Мага приходила в восторг от тех невероятных переделок, в которые она то и дело попадала из-за того, что в ее жизни все законы постоянно терпели крах. Она принадлежала к тем, кому достаточно ступить на мост, чтобы он тотчас же под ней провалился, к тем, кто с плачем и криком вспоминает, как своими глазами видел, но не купил лотерейного билета, на который пять минут назад выпал выигрыш в пять миллионов. Я же привык к тому, что со мной случались вещи умеренно необычные, и не видел ничего ужасного в том, что, войдя в темную комнату за альбомом с пластинками, вдруг сжимал в ладони живую и верткую гигантскую сороконожку, облюбовавшую для сна корешок именно этого альбома. Или, к примеру, открыв пачку сигарет, обнаруживал в ней серо-зеленую труху, или слышал паровозный свисток в тот самый момент и в точности такого тона, чтобы тотчас же переключиться на пассаж из симфонии Людвиг ванета, а то, забежав в писсуар на улице Медичи, сталкивался с мужчиной, который, в этот момент выходя из кабины, поворачивался ко мне, сжимая в кулаке, словно драгоценный предмет церковной утвари, невыразимую часть тела диковинного размера и цвета, и я понимал, что мужчина этот как две капли воды похож на другого (а может, то был не другой, а этот самый), который двадцать четыре часа назад в Географическом собрании делал доклад на тему о тотемах и табу и точно так же, сжимая в кулаке, показывал публике палочки из мрамора, перья из хвоста птицы-лиры, ритуальные монеты, ископаемые остатки животных, которых наделяли магическими свойствами, морских звезд, засушенных рыб, фотографии королевских наложниц, пожертвования охотников, огромных забальзамированных жуков-скарабеев, приводивших в блаженный трепет дам, каковых на такого рода действиях всегда хватало.

Одним словом, не так-то легко рассказать о Маге, вторая сейчас наверняка бредет по Бельвилю или Панину и, старательно глядя под ноги, выискивает красный лоскуток. А если не найдет, то будет ходить всю ночь и с остекленевшим взглядом рыться в помойках, потому что убеждена: случится нечто ужасное, если она не найдет красной тряпицы, этого знака искупления, прощения или отсрочки. Я ее хорошо понимаю, потому что и сам повинуюсь знакам, потому что иногда мне и самому позарез бывает нужно найти красную тряпицу. С детских лет у меня потребность: если что-нибудь упало, я должен обязательно поднять, что бы ни упало, а если не подниму, то непременно случится беда, не обязательно со мной, но с кем-то, кого я люблю и чье имя начинается с той же буквы, что и название упавшего предмета. И хуже всего, что нет силы, способной удержать меня, если у меня что-то упало на пол, и бесполезно поднимать что-нибудь другое – не считается, несчастье случится. Сколько раз из-за этого меня принимали за сумасшедшего, да я и вправду становлюсь как сумасшедший, как ненормальный бросаюсь за выпавшей из рук бумажкой, или карандашом, или – как тогда – за куском сахара в ресторане на улице Скриба, в роскошном ресторане, битком набитом деловыми людьми, шлюхами в чернобурках и образцовыми супружескими парами. Мы были там с Рональдом и Этьеном, у меня из рук выскочил кусочек сахара и покатился под стол, довольно далеко от нас находившийся. Первым делом я обратил внимание на то, как он катился, потому что кусок сахара обычно просто падает на пол и никуда не катится в силу своей прямоугольной формы. Этот же покатился, как шарик нафталина, отчего страхи мои усилились, и мне даже подумалось, что у меня его из рук вырвали. Рональд, который знает меня, посмотрел туда, куда должен был, судя по всему, закатиться сахар, и расхохотался. Это напугало меня еще больше, к страху примешалась ярость. Подошел официант, полагая, что я уронил нечто ценное, паркеровскую ручку, к примеру, или вставную челюсть, но он мне только мешал, и я, не говоря ни слова, метнулся на пол разыскивать кусочек сахара под подошвами у людей, которые сгорали от любопытства (и с полным на то основанием), думая, что речь идет о чем-то крайне важном. За столом сидела огромная рыжая бабища, другая, не такая толстая, но здоровая шлюха и двое управляющих

или что-то в этом роде. Перво-наперво я понял, что сахара нигде нет, хотя своими глазами видел, что он покатился под стол, к самым туфлям, которые сустились под столом, точно куры. На мою беду, пол был застлан ковром, и, хотя ковер был изрядно потерт, сахар мог забиться в ворс так, что его не найти. Официант опустилсЯ на пол по другую сторону стола, и мы оба на четвереньках ползали между туфель-куриц, а их владелицы кудахтали над столом как безумные. Официант по-прежнему был уверен, что речь идет о паркеровской ручке или о какой-нибудь драгоценности, и, когда мы оба совсем забились под стол, в полутьму, располагавшую к полному взаимному доверию, и он спросил меня, а я ему ответил все, как есть, он скроил такую рожу, что впору было побрызгать его лаком-закрепителем, но мне было не до смеху, страх кольцом сжал желудок и под конец привел меня в полное отчаяние (официант в ярости вылез из-под стола), а я начал хватать женщин за туфли и шарить в выемке под каблуком – не прячется ли сахар там, а курицы кудахтали, и петухи-управляющие клевали мне хребет, я слышал, как хохочут Рональд с Этьеном, но не мог остановиться и ползал от стола к столу, пока не нашел сахар, притаившийся у стула, за ножкой в стиле Второй империи. Все вокруг были взбешены, и сам я злился, сжимая в ладони сахар и чувствуя, как он перемешивается с потом и как мерзко тает, как липко мне мстит, и вот такие штучки со мной – что ни день.

(—2)

## 2

Вначале все тут было как кровопускание, пытка на каждом шагу: необходимо все время чувствовать в кармане пиджака дурацкий паспорт в синей обложке и знать, что ключи от гостиницы – на гвоздике, на своем месте. Страх, неведение, ослепление – это называется так, это говорится эдак, сейчас эта женщина улыбнется, за этой улицей начинается Ботанический сад. Париж, почтовая открытка, репродукция Клее рядом с грязным зеркалом. И в один прекрасный день на улице Шерш-Миди мне явилась Мага; когда она поднималась ко мне в комнату на улице Томб-Иссуар, то в руке у нее всегда был цветок, открытка Клее или Миро, а если на это не было денег, то в парке она подбирала лист платана. В те времена я искал на улицах ранним утром проволоку и пустые коробки и мастерил из них мобили, вертушки, которые крутились над трубами, никому не нужные машины, и Мага помогала мне их раскрашивать. Мы не были влюблены друг в друга, мы просто предавались любви с отстраненной и критической изощренностью и вслед за тем впадали в страшное молчание, и пена от пива отвердевала в стаканах паклей и становилась теплой, пока мы смотрели друг на друга и ощущали: это и есть время. В конце концов Мага вставала и начинала слоняться по комнате. Не раз я видел, как она с восхищением разглядывала в зеркале свое тело, приподнимая груди ладонями, как на сирийских статуэтках, и медленным взглядом словно оглаживала кожу. И я не мог устоять перед желанием позвать ее и почувствовать, как она снова со мною после того, как только что целое мгновение была так одинока и так влюблена, уверовав в вечность своего тела.

В те времена мы почти не говорили о Рокамадуре, удовольствие эгоистично, и узколюбое наслаждение сладостным стоном толкало нас друг к другу и связывало нас своими просоленными руками. И я принял беспшабашность Маги как естественное условие каждого отдельного момента существования, и мы, мимоходом вспомнив Рокамадура, наваливались на тарелку разогретой вермишели, мешая вино с пивом и лимонадом, или неслись вниз, чтобы старуха, торговавшая на углу, открыла нам две дюжины устриц, или наигрывали на облупившемся пианино мадам Ноге мелодии Шуберта и прелюдии Баха, или сносили «Порги и Бесс», одобренную жареным на решетке бифштексом и солеными огурчиками. Беспорядок, в котором мы жили, а вернее, порядок, при котором биде самым естественным образом постепенно превращалось в хранилище для пластинок и архив писем, ожидавших ответа, стал казаться мне обязательным, хотя я и не хотел говорить этого Маге. Не стоило большого труда понять, что незачем излагать Маге действительность в точных терминах, похвалы порядку шокировали бы ее точно так же, как и полное его отрицание. Беспорядок вообще не существовал для нее, я понял это в тот момент, когда заглянул однажды в ее раскрытую сумочку (дело было в кафе на улице Реомюр, шел дождь, и нас начинало мучить желание); я же принял беспорядок и даже относился к нему благожелательно, но лишь после того, как понял, что это такое; на этих невыгодных для меня условиях строились мои отношения почти со всем миром, и сколько раз, лежа на постели, которая не застилалась помногу дней, и слушая, как Мага плачет из-за того, что малыш в метро напомнил ей Рокамадура, или глядя, как она причесывается, проводя предварительно целый день перед портретом Леоноры Аквитанской и до смерти желая стать на нее похожей, – сколько раз я – словно умственную отрыжку – глотал мысль, что азы, на которых строится моя жизнь, – тягостная глупость, ибо жизнь моя истощалась в диалектических метаниях, в результате которых я выбирал ничегонеделание вместо делания и умеренное неприличие вместо общепринятых приличий. Мага укладывала волосы, распускала и снова укладывала. Думала о Рокамадуре, напевала что-то из Гуго Вольфа (скверно), целовала меня, спрашивала, как я нахожу ее прическу, или принималась рисовать на клочке желтой бумаги, и всегда она была сама по себе, целиком и полностью, в то время как у меня, лежавшего в постели, не случайно грязной, и прихлебывавшего пиво, не случайно теплое, все было иначе: всегда был я и моя жизнь, был

я со своей жизнью пред жизнью других. Но я и гордился этим сознательным ничегонеделанием: сменяли друг друга луны и бесчисленные жизненные обстоятельства, где были и Мага, и Рональд, и Рокамадур, и Клуб, и улицы, и *мои* нравственные недуги, и прочие пиореи, и Берт Трепа, и голод порою, и старик Труй, вызволивший меня из затруднений, но я, попадая в плен ночей, блевавших музыкой и табаком, мелких пакостей и разного рода выходов, независимо от того, подпадал ли я под их власть или оставался себе хозяином, я никогда не желал притворяться, как эти потрепанные любители богемы, нарекавшие карманный хаос высшим духовным порядком или вешавшие на него какие-либо другие ярлыки, в равной мере прогнившие; я не хотел соглашаться с тем, будто малой толики пристойности хватило бы, чтобы выпутаться из этого вконец загаженного мирка. И вот тогда я встретил Магу, и она, сама того не зная, стала свидетелем моей жизни и шпионом, и я испытывал раздражение оттого, что не переставая думал об этом и понимал: как всегда, мне гораздо легче думать, чем быть и действовать, и в моем случае *ergo* [<sup>3</sup>] из знаменитой фразочки не такое уж *ergo*, и даже вовсе не *ergo*, отчего мы всегда и брели по левому берегу, а Мага, не зная, не ведая, что была моим шпионом и свидетелем, беспредельно восхищалась моими разнообразными познаниями, пониманием литературы и даже *jazz cool* [<sup>4</sup>], ибо все это для нее было тайной за семью печатями. И потому я чувствовал себя антагонистически близким Маге, наша любовь была диалектической любовью, какая связывает магнит и железные опилки, нападение и защиту, мяч и стенку. Боюсь, что Мага строила в отношении меня некоторые иллюзии и, может, ей казалось, что я излечиваюсь от предрассудков или что меняю былые предрассудки на ее, менее назойливые и более поэтичные. И в разгар этой непрочной душевной радости, этой ложной передышки, я протягивал руку и касался клубка-Парижа, его безграничной материи, спутавшейся в единый моток, магмы его воздуха и того, что рисовалось за окном, его облаков и чердачных окон; и тогда беспорядка как не бывало, мир снова представлял окаменевшим и основательным, все прочно сидело в своих гнездах и поворачивалось на плотно пригнанных петлях в этом клубке из улиц, деревьев, имен и столов. Не было беспорядка, который бы вел к избавлению, а были только грязь и нищета, пивные кружки с опивками, чулки в углу, постель, пахнувшая трудами двух тел и волосами, и женщина, гладившая мою ногу тонкой, прозрачной рукой, но ласка, которая могла бы вырвать меня на миг из этого бдения в полной пустоте, запоздала. Запоздала, как всегда, потому что, хотя мы и предавались любви столько раз, счастье, должно быть, выглядело совсем иначе, наверное, оно было печальнее, чем этот покой и это удовольствие, и, может быть, походило на единорога или на остров, на бесконечное падение в неподвижность. Мага не знала, что мои поцелуи были подобны глазам, которые начинали видеть сквозь нее и дальше, и что я как бы выходил, перелитый в иную форму, в мир, где, стоя на черной корме, точно безумствующий лоцман, отрубал и отбрасывал воды времени.

В те дни пятьдесят какого-то года я почувствовал себя словно стиснутым между Магой и чем-то иным, что должно было случиться. Глупее глупого было восставать против мира Маги и мира Рокамадура, ибо все обещало, что едва я обрету независимость, как тут же перестану чувствовать себя свободным. Я был редкостным ханжой, и мне мешало это мелочное шпионство – подглядывание за моей кожей, за моими ногами, за тем, как я забавляюсь с Магой, за тем, как я, подобно попугаю в клетке, пытаюсь сквозь ее прутья читать Кьеркегора, но, думаю, больше всего меня беспокоила сама Мага, которая понятия не имела о том, что она за мной подглядывает, а, напротив, была совершенно убеждена в моей суверенной самостоятельности, но, пожалуй, нет, по-настоящему, меня раздражала мысль о том, что никогда в жизни мне не приблизиться к свободе больше, чем в эти дни, когда я чувствовал себя затравленным миром Маги, и что жажда избавиться от него на самом деле означала признание собствен-

<sup>3</sup> Cogito ergo sum – я мыслю, следовательно, существую (лат.).

<sup>4</sup> «Холодного» джаза (англ.).

ного поражения. Больно было признавать, что ни синтетические удары придуманных невзгод, ни прикрытие манихейством или какой-нибудь дурацкой наукообразной дихотомией не помогли мне отстоять себя на ступенях вокзала Монпарнас, куда волокла меня Мага, отправляясь навестить Рокамандура. Почему бы не принять того, что происходило, и не пытаться объяснить происходящего, не копаясь в таких понятиях, как порядок и беспорядок, свобода и Рокамандур, почему бы не отнестись ко всему естественно и бездумно, как это делают те, кто раздает горшки с геранями во дворике на улице Кочабамба? Наверное, надо пасть на самое дно глупости, чтобы уметь бездумно и безошибочно нащупать щеколду в уборной или на калитке Гефсиманского сада. Тогда меня, например, поражало, что Маге пришла фантазия назвать своего сына Рокамандуром. Мы, в Клубе, устали ломать над этим голову, а Мага знай твердила, что сына звали, как и его отца, а когда папаша исчез, то мальчика лучше было звать Рокамандуром, отправить в деревню и растить en pourgise [5]. Иногда Мага неделями не поминала Рокамандура, и это всегда совпадало с возрождением ее надежд стать певицей, исполнительницей Lieder [6]. Тогда Рональд склонял свою огромную рыжую голову ковбоя над пианино, а Мага вопила Гуго Вольфа с таким остервенением, что передергивало даже мадам Ногге, низавшую в соседней комнате четки, которые она продавала на Севастопольском бульваре. Нам больше было по душе ее исполнение Шумана, но и это зависело от настроения и от того, что мы собирались делать вечером, и еще – от Рокамандура, потому что стоило Маге вспомнить Рокамандура, как все пение катилось к чертям, и Рональд, оставшись у пианино один, имел полную возможность развивать свои идеи бибопа и сладко добивать нас мощью своих блюзов.

О Рокамандуре писать не хочется, во всяком случае сегодня, для этого следовало бы взглянуть на себя с еще более близкого расстояния и дать отпасть всему тому, что отделяет меня от центра. Я то и дело поминаю центр, вовсе не будучи уверенным, что знаю, о чем говорю, просто попадаю в широко распространенную ловушку геометрии, при помощи которой мы, западноевропейцы, пытаемся упорядочить нашу ось, центр, смысл жизни, Омфалос, приметы индоевропейской ностальгии. И даже мою жизнь, которую я пытаюсь описать, этот Париж, по которому я мечусь, подобно сухому листу, даже их нельзя было бы увидеть, если бы за всем этим не пульсировало стремление к оси, желание вновь сойтись у первоисточника. Сколько слов, сколько терминов и понятий для обозначения все того же разлада. Иногда я начинаю уверять себя, что глупость называется треугольником, а восемь, помноженное на восемь, даст в произведении безумие или собаку. Обнимая Магу, эту принявшую человеческий облик туманность, я твержу, что писать роман, который я никогда не напишу, или отстаивать ценою жизни идеи, которые несут освобождение народам, якобы имеет столько же смысла, сколько и лепить фигурку из хлебного мякиша. Маятник продолжает свое невинное качание, и я снова погружаюсь в несущие успокоение понятия: пустяковая фигурка, трансцендентный роман, героическая смерть. Я расставляю их по порядку, от малого к большому: фигурка, роман, героизм. Думаю о иерархии ценностей, так превосходно исследованных Ортегой, Шелером: эстетическое, этическое, религиозное. Религиозное, эстетическое, этическое. Этическое, религиозное, эстетическое. Фигурка, роман. Смерть, фигурка. Мага щекочет меня языком. Рокамандур, этика, фигурка, Мага. Язык, щекочка, этика.

(—116)

<sup>5</sup> У кормилицы (фр.).

<sup>6</sup> Песен, вокальных произведений (нем.).

## 3

Третья за бессонную ночь сигарета обжигала рот Орасио Оливейры, сидевшего на краю постели; пару раз он тихонько провел рукою по волосам спавшей рядом Маги. Был предрасветный час понедельника, весь день и вечер воскресенья они никуда не выходили и читали, слушали пластинки, по очереди поднимаясь разогреть кофе или заварить мате. К концу квартета Гайдна Мага заснула, а Оливейра, которому больше не хотелось слушать, выключил проигрыватель, не вставая с постели; пластинка сделала еще несколько оборотов, но ни единого звука не прорезалось больше. Неизвестно почему, эта глупая инерция навела его на мысль о бесполезных движениях, которые иногда совершают насекомые и дети. Ему не спалось, и он курил, глядя в открытое окно на мансарду напротив, где иногда скрипач допоздна пилил на своей скрипке. Жарко не было, но тело Маги грело ему ногу и правый бок, и он отодвинулся, подумав, что ночь предстоит долгая.

Ему было хорошо, как всегда, когда они с Магой договаривались поставить на всем точку без взаимных оскорблений и раздражения. Его не тронуло прибывшее авиапочтой письмо от брата, кругленького, румяного адвоката, который исписал целых четыре листа по поводу братских и гражданских обязанностей, коими напрасно швыряется Оливейра. Не письмо, а просто прелесть, и Оливейра приклеил его скотчем на стену, чтобы и друзья могли получить удовольствие. Единственно ценное, что содержалось в письме, было уведомление о переводе ему денег по курсу черного рынка, который братец деликатно назвал «комиссионным» переводом. Оливейра подумал, что смог бы купить на эти деньги книги, которые давно хотел прочесть, и дать три тысячи франков Маге – пусть Делает с ними что душе угодно, может даже купить плюшевого слона в натуральную величину и привести в изумление Рокамадура. По утрам он должен был ходить к старику Трую и разбирать корреспонденцию из Латинской Америки. Мысль о том, что придется выходить из дому, чем-то заниматься, что-то разбирать, не способствовала сну. Разбирать – ну и выраженьице. Делать. Делать что-то, делать добро, делать пис-пис, в ожидании дела заняться ничегонеделанием, всюду действие, как ни крути. Но за каждым действием стоял протест, ибо всякое действие означает выйти *из*, чтобы прийти *в*, или передвинуть что-то, чтобы оно было уже не там, а тут, или войти в этот дом в противовес тому, чтобы не войти или войти в другой, – иными словами, всякий поступок предполагал, что чего-то еще не было, что-то еще не было сделано и что это можно было сделать, а именно – безмолвный протест против постоянного и очевидного недостатка чего-то, нехватки или отсутствия наличия. Думать, будто действие способно наполнить до краев или будто сумма действий может составить жизнь, достойную таковой называться, – не что иное, как мечта моралиста. Лучше вообще отказаться от этого, ибо отказ от действия и есть протест в чистом виде, а не маска протеста. Оливейра закурил еще одну сигарету и усмехнулся – как ни минимально было его действие, но он совершил его. Ему не хотелось заниматься поверхностным анализированным – отвлечение и филологические ловушки почти всегда уводили в сторону. Единственно верным сейчас было чувство тяжести у входа в желудок, физически ощущавшееся подозрение, что не все ладно и что почти никогда ладным не было. Ничего страшного, просто он давным-давно отверг обман коллективных поступков, равно как и злобное одиночество, от которых бросаются изучать радиоактивные изотопы или эпоху президентства Бартоломе Митре. Если с юных лет он что-то и выбрал, то это – не защищаться посредством стремительного и жадного поглощения некой «культуры», трюк, свойственный главным образом аргентинским средним классам и имеющий целью выкрасть собственное тело у национальной и любой другой действительности и считать, что ты спасся от пустоты, в которой оно обитает. Быть может, это своеобразное, возведенное в систему дуракаваляние, по выражению его товарища Тревелера, и избавило его от вступления в орден фарисеев (активными членами которого состо-

яли многие его друзья, и преимущественно по доброй воле); принадлежность к ордену позволяла уйти от всех проблем посредством специализации в какой-либо деятельности, за что как бы в насмешку жаловали самыми высочайшими аргентинскими достоинствами. Впрочем, ему представлялось нечестным и слишком легким смешивать такую, например, историческую проблему, как аргентинец ты или эскимос, с проблемой выбора действия или отказа от него. Он достаточно пожил на свете и начал понимать то, что от него, всегда шедшего на поводу у других, раньше постоянно ускользало: значение субъективного в оценке объективного. Мага, например, принадлежала к тем немногим, которые считают, что физиономия человека оказывает самое непосредственное воздействие на впечатления, которые могут у него сложиться по поводу историко-социальных идей или крито-микенской культуры, а форма рук непременно влияет на чувства, которые их хозяин способен испытывать по отношению к Гирландайо или Достоевскому. И Оливейра готов был признать, что его группа крови вкупе с его детством, проведенным среди величественных дядьев, с его отроческими неразделенными любовными переживаниями и с его склонностью к астении могли оказаться факторами первостепенной важности при формировании его мировоззрения. Он принадлежал к средним классам, родом был из Буэнос-Айреса и учился в государственной школе, а такие вещи даром не проходят. Беда в том, что, опасаясь чрезмерной национальной ограниченности собственной точки зрения, он в конце концов стал тщательно взвешивать и придавать слишком большое значение всем «да» и «нет», взирая на чаши весов словно из центра равновесия. В Париже во всем он видел Буэнос-Айрес, и наоборот; как бы ни терзала его любовь, он, страдая, чтит и потерю, и забвение. Такое поведение было губительно-удобным и даже легким, поскольку со временем становилось рефлексом и техникой, не более, и напоминало страшное ясномыслие паралитика или слепоту изумительно глупого атлета. Он уже начал ступать по жизни замедленным шагом философа и clochard [7] и чем дальше, тем все больше позволял инстинкту самосохранения ограничивать жизненно важные порывы в твердом намерении лучше не познать истины, чем обмануться. Бездействие, умеренное душевное равновесие, сосредоточенная несосредоточенность. Для Оливейры самым главным стало не потерять присутствие духа на этом зрелище, подобном зрелищу раздела земель Тупаком Амару, и не впасть при этом в жалкий эгоцентризм (креолоцентризм, субурцентризм, культурцентризм, фольклорцентризм), которые вокруг него повседневно провозглашались во всевозможных обличьях. Ему было десять лет, когда в один прекрасный день в тени раскидистых деревьев-параисо, осенявших его дядьев и их многозначительные поучения на историко-политические темы, он впервые робко выразил свой протест против характерного испано-итало-аргентинского восклицания: «Я вам говорю!», сопровождавшегося ударом кулака по столу, который должен был служить гневным подтверждением. «Glieto dico io!» [8], «Я вам говорю, черт возьми!» «Что доказывало, какую ценность имело это „я“? – стал думать Оливейра. – Какое всеведение утверждало это „я“ великих мира сего?» В пятнадцать лет он понял, что «я знаю только одно, что ничего не знаю»; и совершенно неизбежным представлялся ему воспоследовавший за этим откровением яд цикуты, нельзя же, в самом деле, бросать людям такой вызов безнаказанно, я вам говорю. Позднее он имел удовольствие убедиться, что и на высшие формы культуры оказывают воздействие авторитет и влияние, а также доверие, которое вызывает начитанность и ум, – то же самое «я вам говорю», но только замаскированное и неопознанное даже теми, кто их произносил; оно могло звучать как «я всегда полагал», или «если я в чем-нибудь и уверен», или «очевидно, что» и почти никогда не уравнивалось бесстрастным суждением, содержащим противоположную точку зрения. Словно бы род человеческий бдительно следил за индивидуумом, не позволяя ему чрезмерно продвигаться по пути терпимости, разумных сомнений, колебаний в чувствах. В опре-

<sup>7</sup> Бродяги, клошара (фр.).

<sup>8</sup> Я вам говорю! (ит.)



деленный момент рождались и мозоль, и склероз, и определение: черное или белое, радикал или консерватор, гомо– или гетеро-сексуальный, образное или абстрактное, «Сан-Лоренсо» или «Бока-юниорс», мясное или вегетарианское, коммерция или поэзия. И правильно, ибо род людской не может полагаться на таких типов, как Оливейра; и письмо брата выражало как раз это неприятие.

«Беда в том, – думал он, – что все это неминуемо приводит к одному: „animula vagula blandula“ [9]. Что делать? – с этого вопроса и началась его бессонница. – Обломов, cosa facciamo? [10] Великие голоса Истории понуждают к действию: «Hamlet, revenge!» [11] Будем мстить, Гамлет, или удовольствуемся чиппендейловским креслом, тапочками и старым добрым камином? Сириец после всего, как известно, возмутительно расхвалил Марфу. Ты дашь битву, Арджуна? Не станешь же ты отрицать мужество, нерешительный король? Борьба ради борьбы, жить в постоянной опасности, вспомни Мария-эпикурейца, Ричарда Хиллари, Кио, Т.-Э. Лоуренса... Счастливы те, кто выбирает, кто позволяет, чтобы их выбирали, прекрасные герои, прекрасные святые, на деле же они благополучно убежали от действительности».

Может быть, и так. А разве нет? Впрочем, его точка зрения скорее сходна с точкой зрения лисы, созерцающей виноград. Может, у него и есть свои доводы, но они столь же мелки и ничтожны, как те, что муравей приводит стрекозе. Не подозрительно ли, что ясность сознания ведет к бездействию, не таит ли она в себе особой дьявольской слепоты? Отважный глупец воин, взлетевший на воздух вместе с пороховым складом, Кабраль, геройский солдат, покрывший себя славой, – не такие ли обнаруживают некое высшее видение, некое мгновенное приближение к абсолюту, сами того не сознавая (не требовать же сознательности от сержанта), по сравнению с чем обычное ясновидение, кабинетная ясность сознания, являющаяся в три часа утра тебе, сидящему на краю постели с недокуренной сигаретой во рту, значат меньше, чем откровения земляного крота.

Он поделился своими мыслями с Магой, которая уже проснулась и, свернувшись калачиком, сонно мурлыкала рядом. Мага открыла глаза и задумалась.

– Ты бы просто не смог, – сказала она. – Все мозги готов сломать, думать с утра до ночи, а дело делать – такого за вами не водится.

– Я исхожу из принципа, что мысль должна предшествовать действию, дурашка.

– Из принципа, – сказала Мага. – Сложно-то как. Ты вроде наблюдателя, будто в музее смотришь на картины. Я хочу сказать, что картины – там, а ты – в музее, и близко, и далеко. Я для тебя – картина, Рокамадур – картина. Этьен – картина, и эта комната – тоже картина. Тебе-то кажется, что ты в комнате, а ты не тут. Ты смотришь на эту комнату, а самого тебя тут нет.

– Ты, девочка, можешь смешать с грязью даже святого Фому, – сказал Оливейра.

– Почему святого Фому? – спросила Мага. – Того идиота, который хотел все увидеть, чтобы поверить?

– Его самого, дорогая, – сказал Оливейра, думая, что, по сути, Мага права. Счастливица, она могла верить в то, чего не видела своими глазами, она составляла единое целое с непрерывным процессом жизни. Счастливица, она была в этой комнате, имела полное право на все, до чего могла дотронуться и что жило рядом с нею: рыба, плывущая по течению, лист на дереве, облако в небе, образ в стихотворении. Рыба, лист, облако, образ – вот именно, разве только...

(—84)

<sup>9</sup> «Душа, скиталица нежная» (лат.).

<sup>10</sup> Что будем делать? (ит.).

<sup>11</sup> Гамлет, мсти! (англ.)

## 4

И они начали бродить по сказочному Парижу, повинуюсь в пути знакам ночи и почитая дороги, рожденные фразой, оброненной каким-нибудь clochard, или мерцанием чердачного окна в глубине темной улицы; на маленьких площадях, в укромном месте, усевшись на скамье, они целовались или разглядывали начерченные на земле клетки классиков – любимая детская игра, заключающаяся в том, чтобы, подбивая камешек, скакать по клеткам на одной ножке – до самого Неба. Мага рассказывала о своих подругах из Монтевидео, о детских годах, о каком-то Ледесме, об отце. Оливейра слушал без желания, немного сожалея, что ему неинтересно; Монтевидео или Буэнос-Айрес – какая разница, а ему надо было закрепить свой пока еще непрочный разрыв с ними (что-то теперь поделявает Тревелер, этот неутомимый бродяга, в какие величественные переделки успел попасть после его отъезда? А как там бедняжка Хекрептен и что творится в кафе на центральных улицах?), и потому он слушал угрюмо и чертил палочкой на каменистой земле, в то время как Мага объясняла, почему Чемпе и Грасиэла хорошие девчонки и как она расстроилась оттого, что Лусиана не пришла проводить ее на пароход. Лусиана – снобка, а она этого терпеть не может.

– Что значит снобка, по-твоему? – спросил Оливейра, заинтересовываясь.

– Ну как сказать, – отозвалась Мага, наклоняя голову с таким видом, будто предчувствовала, что ляпнет глупость, – я ехала в третьем классе, а если бы ехала во втором, уверена, Лусиана пришла бы меня проводить.

– В жизни не слышал лучшего определения, – сказал Оливейра.

– Кроме того, я была с Рокамадуром, – сказала Мага. Таким образом, Оливейра узнал о существовании Рокамадура, который в Монтевидео скромно звался Карлос Франсиско. Мага не склонна была сообщать подробности по поводу происхождения Рокамадура, сказала лишь, что в свое время отказалась делать аборт, а теперь начинает об этом жалеть.

– Не то чтобы жалеть, а просто не знаю, как буду жить. Мадам Ирэн стоит очень дорого, а мне надо брать уроки пения, – словом, все это обходится недешево.

Мага не очень твердо знала, почему она приехала в Париж, и Оливейра понимал, что, случись в туристском агентстве легкая путаница с билетами или визами, она с равным успехом могла причалить в Сингапуре или в Кейптауне. Главное было – уехать из Монтевидео и окунуться в то, что она скромно называла Жизнь. Самое большое преимущество Парижа состояло в том, что она прилично знала французский (more Pitman [<sup>12</sup>]) и что тут можно было увидеть лучшие картины в музеях, лучшие фильмы, – словом, Kultur [<sup>13</sup>] в самом ее замечательном виде. Оливейру умиляла эта жизненная программа (хотя Рокамадур почему-то довольно неприятным образом охлаживал его), и он вспоминал некоторых своих блистательных буэнос-айресских подруг, которые совершенно неспособны были выбраться за пределы Ла-Платы, несмотря на все их метафизические потуги планетарного размаха. А эта соплячка, к тому же с ребенком на руках, села на пароход в третий класс и без гроша в кармане отправилась учиться пению в Париж. Мало того, она обучала его смотреть и видеть; не подозревая того, что обучает, она любила остановиться вдруг на улице и нырнуть в пустой подъезд, где ровным счетом ничего не было, но зато дальше – зеленый отблеск, просвет, и тихонько, чтобы не рассердить привратницу, она проскальзывала в большой внутренний двор, где иногда оказывалась старая статуя, или увитый плющом колодец, или вообще ничего, а только стертый пол, замощенный круглой плиткой, плесень на стенах, вывеска часовщика, старичок, прикорнувшийся в тенистом

<sup>12</sup> По способу Питмана (лат.).

<sup>13</sup> Культура (нем.).

углу, и коты, непременно *minouche*, кис-кис, мяу-мяу, *kitten*, *katt*, *chat*, *cat*, *gatto* [<sup>14</sup>], – серые, и белые, и черные – из всех сточных канав, хозяева времени и нагретых солнцем плитчатых полов, неизменные друзья Маги, которая умела щекотать им брюшко и разговаривать на их глупом и загадочном языке, назначала им свидания в условленном месте, что-то советовала и о чем-то предупреждала. Порою Оливейра, бродя с Магой, сам себе удивлялся: что толку было сердиться на Магу – стакан с пивом она почти всегда опрокидывала, а собственную ногу из-под стола вынимала специально для того, чтобы официант об нее споткнулся и разразился проклятьями; однако она была счастлива, несмотря на то что постоянно раздражала его, делая все не так, как следовало делать: она могла решительно не замечать огромной суммы счета и даже, напротив, прийти в восторг от того, что эта сумма оканчивалась скромной цифрой «3», а бывало, что ни с того ни с сего замирала посреди улицы («рено» тормозил в двух метрах, и водитель, высунувшись в окошечко, материл ее с пикардийским акцентом) – просто хотела поглядеть, как оттуда, с середины улицы, смотрелся Пантеон, потому что оттуда он смотрелся гораздо лучше, чем с тротуара. И прочее в том же духе.

К тому времени Оливейра уже знал Перико и Рональда. Мага познакомила его с Этьеном, а Этьен свел их с Грегоровиусом; таким образом ночью в Сен-Жермен-де-Пре был создан Клуб Змеи. Все, кого ни возьми, принимали Магу сразу же как само собой разумеющееся, хотя и раздражались: приходилось растолковывать ей почти все, о чем они говорили, к тому же постоянно половина еды с тарелки у нее разлеталась в разные стороны только потому, что она не умела как следует обращаться с вилок и ножом, и жареная картошка в результате оказывалась в волосах у тех, кто сидел за соседним столиком, и приходилось извиняться и корить Магу, что она такая растяпа. И в их компании она тоже вела себя неловко, Оливейра видел, что она бы предпочла общаться с каждым из клубных друзей по отдельности, по улицам прогуливаться с Этьеном или с Бэпс, вовлекать их в свой мир, вовсе не желая вовлекать и все-таки вовлекая, – таким она была человеком и одного хотела: вылезти из привычной рутины, во что бы то ни стало вылезти и из автобуса, и из истории, но, как бы то ни было, все в Клубе были признательны Маге, хотя при любом случае ругали ее на чем свет стоит. Этьен, самоуверенный, как пес или почтовый ящик, весь белел, когда Мага, глядя на его новую картину, ляпала очередную глупость, и даже Перико Ромеро, снисходительно признавал, что «эта Мага – штучка с ручкой». Много недель, а может, и месяцев (вести счет дням Оливейре было в тягость, я счастлив, а следовательно, будущего нет) бродили и бродили они по Парижу, разглядывая то, что попадалось на глаза, не мешая случаться тому, что должно было случаться, то сплетаясь в объятиях, то отталкиваясь друг от друга в ссоре, но все это происходило вне того мира, где совершались события, о которых писали в газетах, где имели ценность семейные или родственные обязанности и любые другие формы обязательств, юридические или моральные.

Тук-тук.

– Давай вставать, – говорил иногда Оливейра.

– Зачем, – отзывалась Мага, глядя, как бегут от моста Неф *peniches* [<sup>15</sup>]. – Тук-тук, у вас в башке птичка. Тук-тук, долбит все время, хочет, чтобы вы ей дали поесть чего-нибудь аргентинского. Тук-тук.

– Ладно, – ворчал Оливейра. – Я тебе не Рокаматур. Кончится тем, что заговорим на этом птичьем языке с лавочником или с привратницей – скандалу не оберешься. Смотри, как этот тип ухлестывает за негритянкой.

– Ее я знаю, она работает в кафе на улице Прованс. Ей нравятся женщины, бедняга зря тратит силы.

– А тебя этой негритянке удавалось заарканить?

<sup>14</sup> Котенок, кот (англ., швед., фр., ит.).

<sup>15</sup> Катера (фр.).

– Конечно. Но мы просто подружились, я подарила ей свои румяна, а она мне – книжечку какого-то Ретефа, нет... постой, Ретифа, кажется...

– Ну, ясно. У тебя правда с ней ничего не было? Такой, как ты, любопытной все интересно, наверное.

– А у тебя, Орасио, было что-нибудь с мужчинами?

– Конечно. Тоже жизненный опыт, сама понимаешь. Мага взглядывала на него искоса, подозревая, что он над ней подшучивает, – рассердился на птичку в башке, ту-тук, за птичку, которая попросила чего-нибудь аргентинского. А потом набрасывалась на него, к величайшему изумлению супружеской пары, шествовавшей по улице Сен-Сулпис, и, хохоча, ерошила ему волосы, так что Оливейре приходилось хватать ее за руки, и они оба смеялись, а супружеская пара смотрела на них, и мужчина осмеливался чуть улыбнуться, а женщина чувствовала себя оскорбленной до глубины души.

– Ты права, – признался в конце концов Оливейра. – Я неисправим. Действительно, зову вставать, а так хорошо спать и спать.

Они останавливались перед витриной, читали названия книг. Мага расспрашивала, заинтересованная цветом обложки или форматом издания. И приходилось объяснять ей, какое место в литературе занимает Флобер, кто такой Монтескье, о чем писал Раймон Радиге и когда жил Теофиль Готье. Мага слушала, чертя пальцем узоры на витринном стекле. «Птичка в башке хочет, чтобы ей дали поесть чего-нибудь аргентинского, – думал Оливейра, слушая самого себя. – Боже мой, ну и вляпался».

– Разве ты не понимаешь, что ты не научишься ничему? – наконец говорил он. – Хочешь получить образование на улице, дорогая, так не бывает. Подпишись лучше на «Ридерс Дайджест».

– Ну нет, это мерзость.

«Птичка в башке, – думал Оливейра. Но не у нее, а у него. – А что у нее в голове? Ветер или сладости, во всяком случае, нечто плохо усваивающееся. Но голова не самое ее сильное место».

«Она зажмуривается и попадает в самое яблочко, – думает Оливейра. – Точь-в-точь как в стрельбе из лука по системе дзэн. Она попадает в мишень именно потому, что не знает никакой системы. А я – наоборот... Тук-тук. Такие вот дела».

Когда Мага начинала расспрашивать о вещах вроде дзэн-буддизма (такое обычно происходило в Клубе, где постоянно говорили о ностальгиях, о познаниях столь далеких, что вполне можно было счесть их основополагающими, об оборотных сторонах медалей, о другой стороне Луны), Грегоровиус силился объяснять ей элементарные основные метафизики, между тем как Оливейра, смакуя рюмку перно, смотрел на них и развлекался. Бессмысленно было объяснять что-либо Маге. Фоконье прав, для таких, как она, загадка начиналась как раз с объяснения. Мага слушала про имманентное и трансцендентальное и, хлопая своими прелестными глазами, прихлопывала к чертовой матери всю метафизику Грегоровиуса. В конце концов она убеждала себя, что поняла дзэн-буддизм, и устало вздыхала. И только один Оливейра знал, что Мага то и дело заглядывала в эти огромные пространства, не знающие времени, которые все они искали при помощи диалектики.

– Не запоминай глупостей, – советовал он ей. – Зачем надевать очки, если ты в них не нуждаешься.

Мага немного сомневалась. Она так восхищалась и Оливейрой и Этьеном, которые могли спорить по три часа кряду. Они казались ей как бы стоящими в меловом круге, и ей хотелось войти в этот круг и понять, чем так важен для литературы принцип индетерминизма и почему Морелли, о котором они столько говорили и которым восторгались, собирался сделать из своей книги стеклянный шар, в котором бы микро– и макрокосм слились в самоуничтожающем видении.

– Тебе объяснить это невозможно, – говорил Этьен. – Это все – уровень номер 7, а ты еще на уровне номер 2.

Мага сразу грустнела, а потом, подобрав на краю тротуара опавший лист, разговаривала с ним о чем-то, проводила им по ладони, переворачивала его со стороны на сторону, разглаживала, а под конец, сняв с него мякоть, обнажала прожилки, и его зеленый паутинчатый призрак тенью ложился ей на кожу. Этьен выхватывал у нее лист и смотрел сквозь него на свет. Именно за такие штучки они и восхищались ею, и стыдились, что бывали с ней грубы, а Мага пользовалась этим и просила еще бутылку пива и – если можно – немного жареного картофеля.

(—71)

## 5

В первый раз это была гостиница по улице Валетт, они слонялись по городу, заходя то и дело в подъезды, послеобеденный дождь всегда отдает горечью, что-то надо было делать, где-то спрятаться от этой промозглой измороси, от этих воняющих резиной плащей, и тут-то Мага прижалась к Оливейре, они смотрели друг на друга ошалело, ну конечно же, ГОСТИНИЦА, и вот старуха из-за обшарпанной конторки заговорщически приветствует их, понятное дело, чем еще заниматься в такую сучью погоду. Старуха волочила ногу, и тоска была смотреть, как она карабкалась вверх, останавливаясь на каждом шагу, чтобы подтянуть больную ногу, которая была гораздо тоще здоровой, и так – на каждой ступеньке, до самого четвертого этажа. Пахло варевом, супом, в коридоре на ковре, точно два крыла, распростерлось пятно от пролитой кем-то синей жидкости. В комнате было два окна за красными штопаными, оборванными шторами; влажная полоска света, точно ангел, склонялась к изголовью кровати под желтым стеганым покрывалом.

Мага невинно собиралась разыграть маленький спектакль, постоять у окна, делая вид, будто смотрит на улицу, пока Оливейра проверял щеколду на двери. Наверное, у нее была своя готовая схема на такой случай, а может, просто все всегда происходило именно так: сумочка клалась на стол, вынимались сигареты и, глядя на улицу, она начинала курить, глубоко затягиваясь, отпускала замечание насчет обоев и ждала, совершенно явно ждала, выполняла обязательную процедуру, позволяя мужчине сыграть свою роль лучшим образом, давая ему время проявить инициативу. Но они вдруг расхохотались, как все это глупо. И желтое покрывало, отброшенное в угол, ватно обмякло у стены, точно бесформенная кукла.

Теперь они забавлялись, сравнивая покрывала, стены, лампы, шторы; номера в гостиницах *cinquième arrondissement* [16] им казались лучше, чем в гостиницах *sixième* [17], а с комнатами в *septième* [18] им не везло, там всегда что-нибудь происходило: то в соседнем номере стучали, то начинали мрачно завывать водопроводные трубы, тогда-то Оливейра и рассказал Маге историю Тропмана.

Мага слушала, тесно прижавшись к нему; надо бы прочитать рассказ Тургенева, уму непостижимо, сколько ей надо всего прочитать за два года (почему-то именно за два); в другой же раз он рассказал о Петии, потом о Вайдманне, о Джоне Кристи – в гостинице всегда в конце концов хотелось говорить о преступлениях, – но случалось, на Магу накатывал приступ серьезности, и она, уставившись в потолок, спрашивала, правда ли, что сиенская живопись так грандиозна, как утверждает Этьен, и не следует ли поэкономить немного и купить пластинки и сочинения Гуго Вольфа, которые временами она напевала, замолкая на полужвуке, забывшись или рассердясь. Оливейре нравилось предаваться любви с Магой, потому что для нее ничего на свете не было важнее и еще потому – это трудно понять, – что он чувствовал себя как бы внизу, под наслаждением, которое испытывал, и, дождавшись своего мига, отчаянно цеплялся за него, пытаясь продлить, – это было все равно что проснуться и точно знать, как тебя зовут, – а потом он снова впадал в несколько сумеречное состояние, которое Оливейре, больше всего на свете боявшемуся всяческого совершенства, очень нравилось, но Мага искренне страдала, когда он возвращался к своим воспоминаниям и ко всему тому, о чем чувствовал смутную необходимость думать, но думать не мог, и тогда ей приходилось целовать его долгими поцелуями и разжигать к новым ласкам, и, уже новая, убогатворенная, она словно вырастала в его глазах, и завладевала им полностью, превращаясь в обезумевшее животное, и, упершись взглядом в

<sup>16</sup> Пятого округа (фр.).

<sup>17</sup> Шестого (фр.).

<sup>18</sup> Седьмого (фр.).

пустоту, заломив руки за спину, внушала мистический страх, и, точно катящаяся с горы статуя, цеплялась ногтями за ускользящее время, и задыхалась, всхлипывала, стонала без конца, без конца. Как-то ночью она впилась ему в плечо зубами до крови, потому что он, лежа рядом, отделился от нее и забылся своими думами, и что-то произошло между ними без слов, какое-то соглашение, Оливейре показалось, что Мага ждала от него смерти, но ждала не сама она, не ее ясное сознание, а какая-то темная сила, крившаяся в ней и требовавшая уничтожения, — разверстая в небо пасть, что крушит ночные звезды и возвращает обеззвездешенному миру все его вопросы и страхи. Но только однажды он, почувствовав себя мифологическим матадором, для которого убить быка означает вернуть его морю, а море — небу, только однажды он надругался над Магой; то было долгой ночью, о которой они потом почти никогда не вспоминали, он поступил с ней как с Пасифаей, а потом потребовал от нее того, чего не стесняются только с самой последней проституткой, а после вознес до звезд, сжимая ее в объятиях, пахнущих кровью, и всосал в себя тень ее живота и ее спины, и познал ее, как только мужчина может познать женщину, истерзав своей кожей, волосами, слюной и стонами, опустошил, исчерпал всю, до дна, ее великолепную силу, и швырнул на простыню, на подушку, и слушал, как она плачет от счастья у самого его лица, которое огонек сигареты вновь возвращал в эту ночь и в этот гостиничный номер.

И тут же Оливейра почувствовал беспокойство, как бы она не сочла это вершиной всего, как бы не стала в любовных играх искать возвышения и приносить себя в жертву. Больше всего он боялся самой тонкой формы благодарности, которая оборачивается собачьей преданностью; ему не хотелось, чтобы свобода, единственный наряд, который был Маге к лицу, растворилась в бабьей податливости. Но скоро успокоился, увидев, что Мага сперва как ни в чем не бывало занялась черным кофе, а потом пошла к биде и оттуда, судя по всему, вернулась вконец запутавшейся. Этой ночью с ней обошлись дальше некуда, мир, который трепетал и бился вокруг, проникал в каждую пору ее существа, и первые же слова Оливейры должны были хлестнуть ее бичом, а она вернулась и села на край постели в полной растерянности, готовая утешиться ласковой улыбкой или расплывчатой надеждой, и это окончательно успокоило Оливейру. Ибо если он ее не любил и желание должно было угаснуть (а он ее не любил и желание должно было угаснуть), то следовало хуже чумы бояться хоть чем-то освятить эти забавы. Следовало избегать этого день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, в каждом гостиничном номере, на каждой площади, в каждой любовной позе и каждым утром, сидя за столиком кафе на рыночной площади; жестокое противоборство, тончайшим образом продуманная операция с блистательным по неясности результатом. Он окончательно убедился: Мага и в самом деле ждала, что Орасио убьет ее, дабы в этой смерти она, подобно птице-феникс, возродилась и наконец присоединилась к славной плеяде философов, другими словами, стала бы полноправным участником на посиделках в Клубе Змеи; Мага хотела все понять, стать об-ра-зо-ван-ной. Оливейру звали, вдохновляли, подстрекали на роль жреца-очистителя; поскольку они почти никогда не понимали друг друга и в самой живой беседе оказывались совершенно разными, исходя из в корне противоположных представлений (и она это знала, она это прекрасно понимала), единственная возможность сблизиться состояла в том, что Орасио убьет ее в момент любви, потому что в любви ей удавалось слиться с ним, и тогда в небесах, в небесах гостиничных номеров, где они сойдутся, наконец-то одинаковые в своей наготе, свершится ее воскрешение, воскрешение феникса после того, как он задушит ее в наслаждении и застынет в восторге, глядя так, словно начинает снова узнавать ее, ибо, сделав ее своею по-настоящему, отныне всегда будет с нею, а она — с ним.

(—81)

## 6

Они договаривались, что будут бродить по такому-то кварталу в определенный час. Им нравилось дразнить судьбу: а вдруг они не встретятся и целый день будут злиться поодиночке в кафе или на площади и прочтут одной книгой больше. Это выражение – «одной книгой больше» – принадлежало Оливейре, а Мага приняла его в силу закона осмоса, взаимопроникновения. По существу, для нее почти любая книга была одной книгой меньше, и сколько раз она преисполнялась непомерной жаждой знания и за безгранично долгое время (исчислявшееся примерно тремя или пятью годами) собиралась прочитать полное собрание сочинений Гете, Гомера, Дилана Томаса, Мориака, Фолкнера, Бодлера, Роберто Арльта, Святого Августина и других авторов, чьи имена то и дело заставляли ее врасплох на клубных дискуссиях. Оливейра в таком случае презрительно пожимал плечами и заговаривал об уродствах, бытующих на берегах Ла-Платы, о новой породе читателей fulltime <sup>[19]</sup>, о библиотеках, кишачих претенциозными девицами-недоучками, изменившими любви и солнцу, о домах, где запах типографской краски прикончил веселый чесночный дух. Сам он в эти дни читал мало, поглощенный просмотром старых пожелтевших картин в фильмотеке, разглядыванием деревьев, мелких предметов, которые находил на улице, и женщин Латинского квартала. Его неясные интеллектуальные стремления сводились к не приносящим никакой пользы размышлениям, и, когда Мага спрашивала какую-нибудь дату или просила объяснить слово, он делал это нехотя, как делают нечто бесполезное. «Надо же, все знаешь», – говорила Мага удрученно. И тогда он брал на себя труд разъяснить разницу между «знать» и «иметь представление» и предлагал проверить ее на специальных тестах, от которых она, вконец запутавшись, приходила в полное отчаяние.

Выбрав место, где еще не бывали, они договаривались встретиться – найти друг друга там – и почти всегда находили. Иногда они придумывали такие невероятные варианты, что Оливейра, призывая на помощь теорию вероятности, снова и снова кружил по улицам, почти не веря в успех. Как это могло случиться, что Мага решала завернуть за угол на улицу Вожирар как раз в тот момент, когда он, находясь от нее всего в пяти кварталах, передумал и вместо того, чтобы подняться вверх по улице Буси, поворачивал в сторону улицы Месье-ле-Прэнс, просто так, без всякой на то причины, и тут наткнулся на нее, застывшую перед витриной в созерцании забальзамированной обезьяны. Потом, забравшись в кафе, они подробнейшим образом восстанавливали весь путь и каждый свой неожиданный поворот, пытаясь объяснить его телепатией, но всякий раз терпели в этом неудачу, однако они находили друг друга в лабиринте улиц, почти всегда встречались и смеялись как сумасшедшие, уверовав, что обладают некоей могущественной силой. Оливейру приводило в восторг полное отсутствие у Маги расщудочности, восхищало ее спокойное пренебрежение самыми элементарными расчетами. То, что для него было анализом вероятностей, выбором или просто верой, что ноги сами вынесут, ей представлялось судьбой. «А если бы ты меня не встретила?» – спрашивал он. «Не знаю, но ты здесь...» Непонятным образом ответ сводил на нет вопрос, обнажал негодность его логических пружин. После этого Оливейра чувствовал в себе новый прилив сил бороться с этими ее классическими предрассудками, а Мага, как ни парадоксально, бросалась крушить его презрение к школьным познаниям. Так они и жили, Панч и Джуди, притягиваясь друг к другу и отталкиваясь, как и следует, если не хочешь, чтобы любовь кончилась цветной открыткой или песней без слов. Но любовь, какое слово...

(—7)

<sup>19</sup> Полный рабочий день (англ.).



## 7

Я касаюсь твоих губ, пальцем веду по краешку рта и нарисую его так, словно он вышел из-под моей руки, так, словно твой рот приоткрылся впервые, и мне достаточно зажмуриться, чтобы его не стало, а потом начать все сначала, и я каждый раз заставляю заново родиться твой рот, который я желаю, твой рот, который выбран и нарисован на твоём лице моей рукой, твой рот, один из всех избранный волею высшей свободы, избранный мною, чтобы нарисовать его на твоём лице моей рукой, рот, который волею чистого случая (и я не стараюсь понять, как это произошло) оказался точь-в-точь таким, как и твой рот, что улыбается мне из-под рта, нарисованного моею рукой.

Ты смотришь на меня, смотришь на меня из близи, все ближе и ближе, мы играем в циклопа, смотрим друг на друга, сближая лица, и глаза растут, растут и все сближаются, ввинчиваются друг в друга: циклопы смотрят глаз в глаз, дыхание срывается, и наши рты встречаются, тычутся, прикусывая друг друга губами, чуть упираясь языком в зубы и щекоча друг друга тяжелым, прерывистым дыханием, пахнущим древним, знакомым запахом и тишиной. Мои руки ищут твои волосы, погружаются в их глубины и ласкают их, и мы целуемся так, словно рты наши полны цветов, источающих неясный, глухой аромат, или живых, трепещущих рыб. И если случается укусить, то боль сладка, и если случается задохнуться в поцелуе, вдруг глотнув в одно время и отняв воздух друг у друга, то эта смерть-мгновение прекрасна. И слюна у нас одна на двоих, и один на двоих этот привкус зрелого плода, и я чувствую, как ты дрожишь во мне, подобно луне, дрожащей в ночных водах.

(—8)

## 8

Под вечер мы ходили на набережную Межиссери смотреть рыбок – дело было в марте, месяце леопарда, неверном, коварном месяце, и уже пригревало желтое солнце, в котором с каждым днем все больше проглядывал красноватый оттенок. На тротуаре у парапета, не обращая внимания на букинистов, которые ничего не собирались давать нам без денег, мы ждали момента, когда увидим аквариумы (мы прогуливались не спеша, ждали момента, когда все аквариумы загорятся в солнечных лучах) и сотни розовых и черных рыб повиснут будто птицы, застывшие в спрессованном шаре воздуха. Нелепая радость подхватывала нас, и ты, напевая что-то, тащила меня через улицу в этот мир парящих рыб.

Огромные бокалы аквариумов выносят на улицу, и вот в толпе туристов, алчущих ребятишек и сеньор, коллекционирующих экзотические виды (550 fr. pièce <sup>[20]</sup>), сверкают кубы аквариумов, солнце сплавляет воедино воду и воздух, а розовые и черные птицы заводят нежный танец в крошечном воздушном пространстве – медленные, стальные птицы. Мы разглядывали их и, забавляясь, приближали глаза к самому стеклу, прижимались к нему носами, приводя в ярость старых торговков, вооруженных сачками для ловли водяных бабочек, и с каждым разом все меньше понимали, что такое рыба, по этому пути непонимания мы подходили все ближе к ним, которые и сами себя не понимают; мы обходили аквариумы и оказывались совсем рядом с ними, так же близко, как наша приятельница, торговка из второй от моста Неф палатки, которая, помнишь, сказала тебе: «Холодная вода убивает их, холодная вода – дело грустное...» Мне вспомнилась горничная из гостиницы, которая учила меня ухаживать за папоротником: «Не поливайте его сверху, поставьте горшок в блюдце с водой, и если он захочет пить – попьет, а не захочет – не попьет...» И еще вспоминалась совершенно непостижимая вещь, где-то вычитанная, что рыба, оказавшись в аквариуме одна, начинает тосковать, но стоит поместить в аквариум зеркало, и она успокаивается...

Мы входили в лавочки, где продавали рыб самых капризных и прихотливых, там были специальные аквариумы с термометрами и красными червячками. То и дело удивляясь вслух, к вящей ярости торговков, твердо уверенных, что уж мы-то ничего не купим по 550 франков за штуку, мы раскрывали для себя загадку их поведения и Любовей, разнообразие их форм. Дни были пропитаны влагой, мягкие, словно жидкий шоколад или апельсиновый мусс, и мы, купаясь в них, пьянели от метафор и аналогий, которые призывали на помощь, желая проникнуть в тайну. Одна рыба была точь-в-точь Джотто, помнишь, а две другие резвились, как собаки из яшмы, и еще одна – ни дать ни взять тень от фиолетовой тучи... Мы открывали жизнь, обитающую в формах, лишенных третьего измерения, наблюдая, как они, эти формы, *исчезали* или превращались в едва различимую розовую полоску, неподвижно застывшую в воде, стоило им повернуться к нам. Движение плавника – и чудовище снова тут, вот они – глаза, усы, плавники, а из брюшка время от времени вылезает и плывет следом прозрачная ленточка испражнений, все никак не оторвется, пустяковина, но она разом вырывает это совершенное существо из мира чистых образов и ставит в один ряд с нами, связывает его, к месту сказать, с одним из величайших слов, которые в те дни не сходило у нас с языка.

(—93)

---

<sup>20</sup> Франков за штуку (фр.).

## 9

По улице Варенн они вышли на улицу Вану. Моросило, и Мага совсем повисла на руке у Оливейры, прижалась к его плащу, пахнущему остывшим супом. Этьен с Перико спорили о том, как объяснить мир с помощью живописи и слова. Оливейре было скучно, он обнял Магу за талию. А разве так нельзя объяснять – положить руку на талию, стройную и горячую, и идти, ощущая легкий жар мышц, – чем не разговор, ровный и настойчивый, как по Берлину: люблю тебя, люблю тебя, лю-блю те-бя. Безличной формой ничего не выразишь: лю-бить, лю-бить. Необходимо спряжение. «А после спряжения всегда – связь, соединение», – подвел грамматическую базу Оливейра. Если бы Мага могла понять, как иногда его раздражала эта подвластность желанию, *бесполезная подвластность в одиночку*, как сказал некогда поэт, какая теплая талия, мокрые волосы прижимаются к его щеке, ох эта Мага, совсем как с полотна Тулуз-Лотрека, идет, прилепившись к нему. Вначале все-таки было соединение, соитие, овладеть – значит объяснить, но не всегда наоборот. Значит найти антиэкспликативный метод, в котором это лю-блю тебя, лю-блю те-бя становится ступицей в колесе. А Время? Все начинается сызнова, абсолюта нет. Потом надо принять пищу или вывести пищу из организма. Все обязательно снова и снова проходит через кризис. Но время идет, и снова возникает желание, то же самое и все-таки каждый раз иное: западня, измышленная временем специально для того, чтобы питать иллюзии. «Любовь, что огонь, ей вечно гореть в созерцании Всего сущего. Ну вот, опять из тебя посыпались дурацкие слова».

– Объяснять, объяснять, – ворчал Этьен. – Да вы если не назовете вещь по имени, то и не увидите ее. Это называется собака, это называется дом, как говорил тот, из Дуино. Надо показывать, Перико, а не объяснять. Я рисую, следовательно, я существую.

– А что показывать? – спросил Перико Ромеро.

– То единственное, что оправдывает нашу жизнь.

– Это животное полагает, что нет других чувств, кроме зрения, со всеми его последствиями, – сказал Перико.

– Живопись – не просто продукт зрения, – сказал Этьен. – Я пишу всем своим существом и в этом смысле не очень расхожусь с твоим Сервантесом или Тирсо, как его там. А от вашей мании все объяснять меня с души воротит, тошнит, когда логос понимают только как слово.

– И так далее, – мрачно вмешался Оливейра. – Стоит вам заговорить о формах восприятия, как разговор превращается в спор двух глухонемых.

Мага прижалась к нему еще теснее. «Сейчас она ляпнет очередную чушь, – подумал Оливейра. – Сначала ей всегда надо потереться об меня, кожей решиться заговорить». Он почувствовал что-то вроде злой нежности, нечто настолько противоречивое, что, верно, и было настоящим. «Надо бы придумать нежную пощечину, комариный пинок. Но в этом мире еще только предстоит совершить последние синтезы. Перико прав, великий логос не дремлет. Жаль, мы знаем, что такое геноцид, но ничего не знаем о любоциде, например, или подлинном черном свете и антиматерии, над которой бы поломал голову Грегоровиус.

– Эй, а Грегоровиус придет на наш дискобум? – спросил Оливейра.

Перико высказался, что придет, а Этьен высказался насчет Мондриана.

– Смотри, что получается с Мондрианом, – говорил Этьен. – Магические знаки Клее для него недействительны. Клее играл широко, в расчете на культурные ценности. Для понимания Мондриана вполне достаточно простого восприятия, в то время как Клее нуждается еще в целой куче других вещей. Утонченный для утонченных. И вправду китаец. Но зато Мондриан рисует абсолют. Ты стоишь перед его картиной как есть голый, и одно из двух: или ты видишь, или не видишь. А удовольствие, то, что щекочет нервы, аллюзии, страхи или наслаждение – все это совершенно лишнее.

– Ты понимаешь, что он говорит? – спросила Мага. – По-моему, про Клее – несправедливо.

– Справедливость или несправедливость не имеют к этому ровным счетом никакого отношения, – сказал Оливейра, скучая. – Речь совершенно о другом. И не переводи сразу же на личности.

– А почему он говорит, будто все эти прекрасные вещи не годятся Мондриану?

– Он хочет сказать, что понимать такую живопись, как у Клее, можно, только имея диплом *ès lettres* [21], а то и *ès poésie* [22], в то время как для понимания Мондриана достаточно омондрианиться – и готово дело.

– Вовсе не так, – сказал Этьен.

– Нет, так, – сказал Оливейра. – По твоим словам, для понимания полотна Мондриана нужно само полотно, и ничего больше. А следовательно, Мондриану нужно твое девственное неведение больше, чем твой жизненный опыт. Я говорю о райском неведении и невинности, а не о глупости. Обрати внимание, что даже метафора насчет голого перед его картиной отдает допотопными временами. Как ни парадоксально, Клее гораздо скромнее, потому что ему требуется соучастие тех, кто смотрит на его полотна, он не довольствуется только собою. По сути дела, Клее – это история, между тем как Мондриан – вне времени. А тебе до смерти хочется абсолютного. Понятно объясняю?

– Нет, – сказал Этьен. – *C'est vache comme il pleut* [23].

– Ты все трепешься, черт тебя подери, – сказал Перико. – А Рональд живет у черта на рогах.

– Прибавим шагу, – поддержал его Оливейра. – Надо укрыть бренное тело от бури, че.

– Ладно тебе. Я уже почти полюбил твой аргентинский прононс. Как в Буэнос-Айресе. Ну и придумал этот Педро Мендоса – завоевал вас всех и колонизировал.

– Абсолют, – говорила Мага, подбивая носком камешек из лужи в лужу, – Орасио, что такое абсолют?

– Ну, в общем, – сказал Оливейра, – это такой момент, когда что-то достигает своей максимальной полноты, максимальной глубины, максимального смысла и становится совершенно неинтересным.

– А вот и Вонг идет, – сказал Перико. – Китаец похож на суп из водорослей.

И почти тотчас же они увидели вышедшего из-за угла улицы Вавилон Грегоровиуса, как всегда, с огромным портфелем, набитым книгами. Вонг с Грегоровиусом остановились под фонарем (со стороны казалось, будто они встали под один душ) и торжественно поздоровались. В подъезде у Рональда была проиграна коротенькая увертюра из закрывания зонтов, из *comment ça va* [24], зажгите кто-нибудь спичку, лампочка перегорела, ну и погодка *ah oui c'est vache* [25], потом гурьбой стали подниматься по лестнице, но на первой же площадке остановились, наткнувшись на парочку, которая не могла оторваться друг от друга – целовалась.

– *Allez, c'est pas une heure pour faire les cons* [26], – сказал Этьен.

– *Ta gueule*, – ответил ему полузадушенный голос. – *Montez, montez, ne vous gênez pas. Ta bouche, mon trésor* [27].

– *Salud* [28], – сказал Этьен. – Это Ги-Моно, мой большой друг.

---

<sup>21</sup> По литературе (фр.).

<sup>22</sup> По поэзии (фр.).

<sup>23</sup> Черт подери, как льет (фр.).

<sup>24</sup> Как дела (фр.).

<sup>25</sup> Дерьмовая (фр.).

<sup>26</sup> Давай, давай, нашли, когда заниматься любовью (фр.).

<sup>27</sup> Подымайтесь, подымайтесь, не мешайте. Давай губы, золотко (фр.).

<sup>28</sup> Мерзавец (фр.).

На пятом этаже их поджидали Рональд и Бэпс, каждый держал в руке свечу, и пахло от них дешевой водкой. Вонг подал знак, все остановились на ступеньках и а капелла исполнили языческий гимн Клуба Змеи. И тут же кинулись в квартиру, пока не выскочили соседи.

Рональд спиной прислонился к двери. Рыжий костер волос пылал над клетчатой рубашкой.

– Дом набит старьем, damn it [<sup>29</sup>]. В десять вечера сюда спускается бог тишины, и горе тому, кто его осквернит. Вчера приходил управляющий читать нам нотацию. Бэпс, что нам сказал этот достойный сеньор?

– Он сказал: «На вас все жалуются».

– А что сделали мы? – сказал Рональд, приоткрывая дверь, чтобы впустить Ги-Моно.

– Мы сделали так, – сказала Бэпс, заученно вскинув руку в неприличном жесте, и издала ртом непристойный трубный звук.

– А где же твоя девушка? – спросил Рональд.

– Не знаю, заблудилась, наверное, – сказал Ги. – Я думал, она пошла наверх, нам так хорошо было на лестнице, и вдруг слиняла. Посмотрел наверху – тоже нет. А, черт с ней, она шведка.

(—104)

---

<sup>29</sup> Черт бы его побрал (англ.).

## 10

Багровые приплюснутые тучи над ночным Латинским кварталом, влажный воздух с запоздалыми каплями дождя, которые ветер вяло швырял в плохо освещенное окно с грязными стеклами, где одно разбито и кое-как залеплено розовым пластырем. А наверху, под свинцовыми водосточными желобами, наверное, спали голуби, тоже свинцовые, спрятав головы под крыло, – эдакие образцовые антиводостоки. Защищенный окном параллелепипед, пропахший водкой и свечами, сырой одеждой и недоеденным варевом, – так называемая мастерская керамистки Бэпс и музыканта Рональда и одновременно – помещение Клуба: плетеные стулья, облупившиеся консоли, огрызки карандашей и обрывки проволоки на полу, чучело совы с полусгнившей головой, и над всем этим – скверно записанная, затрепанная мелодия со старой, заигранной пластинки под непрерывное шипение, потрескивание и щелчки; жалобный голос саксофона, году в двадцать восьмом или в двадцать девятом прокричавший о том, что он боится пропасть, поддержанный любительской ударной группой из женского колледжа и партия фортепиано. Но потом пронзительно вступила гитара, точно возвещающая переход к иному, и неожиданно (Рональд, предупреждая их, поднял палец) вперед вырвался корнет и, уронив две первые ноты темы, оперся на них, как на трамплин. Бикс ударил по сердцу, четко – как падение в тишине – прочертил тему. Двое, давно уже мертвых, сражались, то сплетаясь в братском объятии, то расходясь в разные стороны, двое, давно уже мертвых, – Бикс и Эдди Ланг (которого звали Сальваторе Массаро) – перебрасывали, точно мяч, тему «I'm coming, Virginia», Виргиния, там-то, наверное, и похоронен Бикс, подумал Оливейра, да и Эдди Ланг, в каких-нибудь нескольких милях друг от друга покоятся оба, ставшие теперь прахом, ничем, а было время, в Париже однажды ночью они схлестнулись – гитара против корнета, джин против беды – и это был джаз.

– Хорошо тут. Тепло, темно.

– С ума сойти, какой Бикс. Поставь, старик, «Jazz me Blues». Сджазуй мне блюз.

– Вот как влияет техника на искусство, – сказал Рональд, роясь в стопке пластинок. – До появления долгоиграющих в распоряжении артиста было всего три минуты. А теперь какой-нибудь Стэн Гетц может стоять перед микрофоном двадцать пять минут и заливаться, сколько душе угодно, показывать, на что способен. А бедняге Биксу приходилось укладываться в три минуты – и сам, и сопровождение, и все прочее, только войдет в раж, и привет! – конец. Вот, наверное, бесились те, кто записывал.

– Не думаю, – сказал Перико. – Это все равно что писать сонеты, а не оды, лично я в этих пустопениях не разбираюсь. Прихожу потому, что надоедает сидеть дома и читать бесконечный трактат Хулиана Мариаса.

(—65)

## 11

Грегоровиус позволил налить себе стакан водки и стал пить ее понемножку. Две горящих свечи стояли на каминной доске, где Бэпс держала грязные чулки и бутылки из-под пива. Сквозь прозрачный стакан Грегоровиус с восторгом наблюдал за тем, как независимо горели две свечи, такие же чужие, совсем из другого времени, как вторгшийся сюда на несколько мгновений корнет Бикса. Ему мешали ботинки Ги-Моно, который лежал на диване и не то спал, не то слушал с закрытыми глазами. Мага, зажав в зубах сигарету, подошла и села на пол. В ее глазах плясало пламя зеленых свечей. Грегоровиус завороченно смотрел, и ему вспомнилась улица в Морло под вечер, высокий-высокий виадук и облака.

– Этот свет совсем как вы – сверкает, трепещет, все время в движении.

– Как тень от Орасио, – сказала Мага. – Нос у него то большой делается, то маленький – здорово.

– А Бэпс – пастушка, пасет эти тени, – сказал Грегоровиус. – Все время имеет дело с глиной, вот и тени такие плотские... Здесь все дышит, восстанавливается утраченная связь, и музыка помогает тому, водка, Дружба... Видите тени на карнизе, у комнаты словно есть легкие, и даже как будто сердце бьется. Да, электричество все-таки выдумка элеатов, оно отняло у нас тени, Умертвило их. Они стали частью мебели, лиц. А здесь все не так... Взгляните на потолочную лепнину: как дышит ее тень, завиток поднимается, опускается, поднимается, опускается. Раньше человек входил в ночь, она впускала его в себя, он вел с ней постоянный диалог. А ночные страхи – какое пиршество для воображения...

Соединив ладони, он оттопырил большие пальцы в стороны, и на стене собака стала открывать рот и шевелить ушами. Мага засмеялась. Тогда Грегоровиус спросил ее, как выглядит Монтевидео, и собака тут же пропала – он не был уверен, что Мага уругвайка. Тшш... Лестер Янг и «Канзас-Сити-Сикс». Тшш... (Рональд приложил палец к губам.)

– Уругвай для меня – полная диковина. Монтевидео, наверное, весь из башен и колоколов, отлитых в честь победных сражений. И не уверяйте, будто в Монтевидео на берегу реки не водятся огромные ящерицы.

– Конечно, водятся, – сказала Мага. – Своими глазами можно увидеть, надо только автобусом доехать до Поситос.

– А Лотреамона в Монтевидео знают?

– Лотреамона? – спросила Мага.

Грегоровиус вздохнул и отхлебнул водки. Лестер Янг – сакс-тенор, Дикки Уэллс – тромбон, Джо Бушкин – рояль. Бил Колмен – труба, Джон Симмонс – контрабас, Джо Джонс – ударные. «Four O'clock Drag». Да, огромные ящерицы, тромбоны на берегу реки, ползущий blues, а drag, по-видимому, означает ящерицу времени, которая ползет и ползет, еле тащится, как время в бессонницу, в четыре часа утра. А может, и совершенно другое. «Ах, Лотреамона, – вдруг вспомнила Мага. – Лотреамона, конечно, знают, очень даже хорошо».

– Он был уругвайцем, хотя и не похоже.

– Не похоже, – сказала Мага, оправдываясь.

– На самом деле, Лотреамон... Ладно, а то Рональд сердится – мешаем слушать его кумиров. Придется помолчать, какая жалость. Давайте говорить шепотом, расскажите мне про Монтевидео.

– Ah, merde alors <sup>[30]</sup>, – сказал Этьен, свирепо глянув на них. Вибрафон ощупывал воздух, взбираясь по призрачным ступеням; перескакивал через ступеньку, потом сразу через пять и вдруг вновь оказывался на самом верху; Лайонел Хемптон раскачивался в «Save it pretty

<sup>30</sup> А, черт возьми (фр.).

матта», взлетал и падал вниз, катился по стеклу, закручивался на носке; вспыхивали звезды – три, пять, десять, – а он гасил их носком туфли и все раскачивался, сумасшедше крутя в руке японский зонтик, а оркестр уже вступал в финал; пронзительный корнет – и вниз, с каната – на землю, *finibus*, конец. Грегоровиус слушал, как Мага шепотом вела его по Монтевидео, и, может быть, в конце концов он узнал бы о ней чуть-чуть больше, о ее детстве и правда ли, что ее звали Лусиа, как Мими; водка привела его в то состояние, когда ночь становится щедрой, все вокруг сулит верность и надежду; Ги-Моно уже согнул ноги, и его грубые ботинки не впивались больше Грегоровиусу в копчик, а Мага прислонилась к нему, и он слегка ощущал мягкость ее тела, каждое ее движение, когда она наклонялась, разговаривая, или слегка покачивалась в такт музыке. Как сквозь пелену, Грегоровиус еле различал в углу Рональда с Вонгом, выбиравших и ставивших пластинки, Оливейру и Бэпс, которые откинулись на эскимосский ковер, прибитый к стене; Орасио ритмично покачивался в табачном дыму, а Бэпс совсем осоловела от водки; в комнате все шиворот-навыворот, некоторые краски совсем изменились, синее пошло вдруг оранжевыми ромбами, ну просто невыносимо. В табачном дыму губы Оливейры беззвучно шевелились, он говорил сам с собой, обращаясь к кому-то в прошлом, но от этого у Грегоровиуса внутри будто все переворачивалось, наверное, потому, что такое вроде бы отсутствие Орасио на самом деле было фарсом, он просто позволял Маге чуть-чуть порезвиться, но сам был тут, рядом, и, беззвучно шевеля губами, сквозь дым и джаз, разговаривал с Магой, а про себя хохотал: не слишком ли она увлеклась Лотреамоном и Монтевидео?

[\(—136\)](#)



## 12

Грегоровиусу нравились эти сборища в Клубе, потому что на самом деле все это совершенно не походило ни на какой клуб и именно этим соответствовало самым высоким представлениям о такого рода сборищах. Ему нравился Рональд – за анархизм и за то, что рядом с ним жила Бэпс, за то, как они день за днем, без всякого надрыва, убивали себя чтением Карсон Мак-Каллерс, Миллера, Раймона Кено и самозабвенно отдавались джазу, полагая его неким проявлением свободы, и еще за то, что оба не стеснялись признаться: в искусстве они потерпели поражение. Ему нравился, кстати сказать, и Орасио Оливейра, отношения с которым были довольно трудными: присутствие Оливейры начинало раздражать Грегоровиуса сразу же, едва он находил его после того, как безотчетно искал, в то время как Оливейру развлекали дешевые уловки, с помощью которых Грегоровиус драпировал свое происхождение и образ жизни, и забавляло, что Грегоровиус, как видно влюбленный в Магу, свято верил, что Оливейра этого не замечает; таким образом, оба они в одно и то же время стремились друг к другу и взаимно отталкивались, ни дать ни взять – бык и тореро, ради чего, в конце концов, и существовал Клуб. Оба играли в интеллигентов, разговаривали намеками, что Магу приводило в отчаяние, а Бэпс – в ярость; одному из них достаточно было мимоходом упомянуть что-нибудь, как начиналась отчаянная гонка с целью догнать и перегнать: один поминал небесного пса, другой произносил: «I fled Him»<sup>[31]</sup> – и пошло, поехало... а Мага, чувствуя себя совершенно ничтожной, следила в отчаянии, как оба забирались все выше и выше – попробуй достань – и в конце концов, расхохотавшись над собой, бросали игру, но поздно, потому что Оливейре становился противен этот эксгибиционизм ассоциативной памяти, а Грегоровиус ощущал, что отвращение это вызвал он своей страстью к ассоциативным упражнениям, и оба, чувствуя себя сообщниками, бросали забаву, но через две минуты снова пускались в игру, которая, собственно, наряду с некоторыми другими и составляла смысл клубных сборищ.

– Не часто случалось пить такую отраву, – сказал Грегоровиус, наполняя стакан. – Лусиа, вы рассказывали о своем детстве. Мне интересно не потому, что без этого я не мог бы представить вас на берегу реки с косами и румянцем во всю щеку, какой бывает у моих землячек из Трансильвании до того, как они бледнеют от проклятого лютецианского климата.

– Лютецианского? – спросила Мага.

Грегоровиус вздохнул. И принялся объяснять, а Мага смиренно слушала, как всегда, стараясь изо всех сил понять пока какое-нибудь новое отвлечение не спасало ее от этой пытки. Рональд поставил старую пластинку Хоукинса, и Мага, казалось, примирилась с тем, что объяснения Грегоровиуса разрушают музыку и опять не принесли ей того, чего она всегда ожидала от объяснений, – чтобы мурашки пошли по коже и захотелось вздохнуть глубоко-глубоко, как, наверное, вздохнул Хоукинс, прежде чем снова наброситься на мелодию, и как иногда дышалось ей, когда Орасио удостаивал ее настоящим разъяснением какой-нибудь туманной стихотворной строки, в результате чего непременно возникала новая, сказочная неясность; вот если бы теперь вместо Грегоровиуса Оливейра принялся объяснять ей про Лютецию, то все бы слилось в одно туманное счастье – и музыка Хоукинса, и лютецианцы, и язычки зеленых свечей, и мурашки по коже – и ей бы дышалось глубоко-глубоко, а это было то единственное, что неопровержимо доказывало: все это достоверно и может сравниться только с Рокамадуром, или со ртом Орасио, или еще – с моцартовским адажио, которого уже почти нельзя стало слушать – так заиграли пластинку.

– Не в этом дело, – сдался наконец Грегоровиус. – Я просто хотел немного больше узнать о вашей жизни, разобраться, что вы за существо такое многогранное.

<sup>31</sup> Я бежал от Него (англ.). – Из поэмы Ф. Томпсона «Небесный пес».

– О моей жизни, – сказала Мага. – Да мне и спяну ее не рассказать, а вам не разобраться, как я могу рассказать о детстве? У меня его просто не было.

– У меня тоже не было детства. В Герцеговине.

– А у меня – в Монтевидео. Знаете, иногда мне ночью снится школа, и это так страшно, что я просыпаюсь от собственного крика. А иногда снится, что мне пятнадцать лет, не знаю, было вам пятнадцать лет когда-нибудь...

– Я думаю, было, – сказал Грегоровиус не очень уверенно.

– А мне – было, в доме с внутренним двориком, уставленном цветами в горшках, и мой папа пил там мате и читал мерзкие журналы. К вам приходит иногда ваш папа? Я хочу сказать, видится он вам?

– Нет, скорее – мама, – сказал Грегоровиус. – Чаще всего та, что из Глазго. Моя английская мама иногда является, но не как видение, а как эдакое несколько подмоченное воспоминание, вот так. Но выпьешь алка-зельтцер – и она уходит, безо всякого. А у вас как?

– Откуда я знаю. – Мага стала обнаруживать нетерпение. – Музыка тут, свечи зеленые, Орасио в углу сидит, как индеец. А я должна рассказывать, как мне папа видится... Несколько дней назад я сидела дома, ждала Орасио, ночь наступила, сижу на постели, на улице дождь как из ведра, ну точь-в-точь музыка на этой пластинке. Да, немного похоже, смотрю на постель, жду Орасио и – не знаю, может, одеяло так странно лежало, – только вдруг вижу: папа повернулся ко мне спиной и с головой накрылся, он всегда так накрывался, когда напьется и ляжет спать. Ноги даже видны под одеялом, и руку будто на грудь положил. У меня прямо волосы дыбом встали, закричать хотела, представляете, какой ужас, вам, наверное, тоже бывало страшно когда-нибудь... Хотела выскочить из комнаты, а дверь так далеко, в самом конце коридора, а за ним – еще коридоры, а дверь все отодвигается, отодвигается, а розовое одеяло колыхнется, и слышно, как папа храпит, чувствую: вот-вот вытащит из-под одеяла руку, и нос, острый, как гвоздь, вижу под одеялом, да нет, зачем я все это вам рассказываю, в общем, я так закричала, что прибежала соседка снизу и отпаивала меня чаем, а потом и Орасио пришел, что-то мне давал, чтобы истерика прошла.

Грегоровиус погладил ее по волосам, и Мага опустила голову. «Готов, – подумал Оливейра, отказываясь дальше следить за упражнениями, которые проделывал Диззи Гиллеспи, не подстрахованный сеткой, на самой верхней трапеции, – готов, как и следовало ожидать. С ума сходит по ней, стоит взглянуть на него – сразу понятно. Старая, как мир, игра. Снова и снова влетаем в затрепанную ситуацию и, как идиоты, учим роль, которую и без того знаем наизусть. Если бы я погладил ее вот так по головке и она рассказала бы мне свою аргентинскую сагу, мы бы сразу же оба размякли, да еще под хмельком, так что одна дорога – домой, а там уложить ее в постель ласково и осторожно, тихонько раздеть, не торопясь расстегивая каждую пуговицу и бережно открывая каждую „молнию“, а она – не хочет, хочет, не хочет, раскаивается, закрывает лицо руками, плачет, вдруг обнимает и, словно собираясь предложить что-то крайне возвышенное, помогает спустить с себя трусики и сбрасывает на пол туфли так, что это выглядит возражением, а на самом деле разжигает к последнему, решительному порыву, – о, это нечестно. Придется набить тебе морду, Осип Грегоровиус, бедный мой друг. Без особого желания, но и без сожаления, как то, что выдувает сейчас Диззи, без сожаления, но и без желания, безо всякого желания, как Диззи».

– Какая пакость, – сказал Оливейра. – Вычеркнуть из меню эту пакость. Ноги моей больше не будет в Клубе, если еще хоть раз придется слушать эту ученую обезьяну.

– Сеньору не нравится боп, – сказал Рональд язвительно. – Погодите минутку, сейчас мы вам поставим что-нибудь Пола Уайтмена.

– Предлагаю компромиссное решение, – сказал Этьен. – При всех разногласиях против Бесси Смит никто не возразит, Рональд, родной, поставь эту голубку из бронзовой клетки.

Рональд с Бэпс расхохотались, не очень ясно было почему, и Рональд отыскивал пластинку среди старых дисков. Игла ужасающе зашипела, потом в глубине что-то заворочалось, будто между ухом и голосом было несколько слоев ваты, будто Бесси пела с запеленутым лицом, откуда-то из корзины с грязным бельем, и голос выходил все более и более задуманным, цепляясь за тряпки, голос пел без гнева и без жалости: «I wanna be somebody's baby doll» [32], пел и склонялся к терпению, голос, звучащий на углу улицы, перед домом, набитым старухами, «to be somebody's baby doll», но вот в нем послышался жар и страсть, и он уже задыхается: «I wanna be somebody's baby doll...»

Обжигая рот долгим глотком водки, Оливейра положил руку на плечи Бэпс и поудобнее прислонился к ней. «Посредники», – подумал он, тихо погружаясь в клубы табачного дыма. Голос Бесси к концу пластинки совсем истончался, сейчас Рональд, наверное, перевернет бакелитовый диск (если он из бакелита), и этот стертый кружок возродит еще раз «Empty Bed Blues» и одну из ночей двадцатых годов где-то в далеком уголке Соединенных Штатов. Рональд, закрыв глаза и сложив руки на коленях, чуть покачивался в такт музыке. Вонг с Этьеном тоже закрыли глаза, комната почти погрузилась в темноту; слышно было только, как шипит игла на старой пластинке, и Оливейре с трудом верилось, что все это происходит на самом деле. Почему тогда – там, почему теперь – в Клубе, на этих дурацких сборищах, и почему он такой, этот блюз, когда его поет Бесси? «Они – посредники», – снова подумал он, покачиваясь вместе с Бэпс, которая опьянела окончательно и теперь плакала, слушая Бесси, плакала, сотрясаясь всем телом то в такт, то в контрапункт, и загоняла рыдания внутрь, чтобы ни в коем случае не оторваться от этого блюза о пустой постели, о завтрашнем утре, о башмаках, хлюпающих по лужам, о комнате, за которую нечем платить, о страхе перед старостью, о пепельном рассвете, встающем в зеркале, что висит у изножия постели, – о, эти блюзы, бесконечная тоска жизни. «Они – посредники, ирреальность, показывающая нам другую ирреальность, подобно тому как нарисованные святые указывают нам пальцем на небо. Не может быть, чтобы все это существовало, и что мы на самом деле здесь, и что я – некто по имени Орасио. Этот призрак, этот голос негритянки, умершей двадцать лет назад в автомобильной катастрофе, – звенья несуществующей цепи; откуда мы здесь и как мы собрались сегодня ночью, если не по воле иллюзии, если не повинаясь определенным и строгим правилам некоей игры и если мы не карточная колода в руках непостижимого банкомата...»

– Не плачь, – наклонился Оливейра к уху Бэпс. – Не плачь, Бэпс, всего этого нет.

– О, нет, нет, есть, – сказала Бэпс, сморкаясь. – Все это есть.

– Может, и есть, – сказал Оливейра, целуя ее в щеку. – Но только это неправда.

– Как эти тени, – сказала Бэпс, шмыгая носом и покачивая рукой из стороны в сторону. –

А так грустно, Орасио, потому, что это прекрасно.

Но разве все это – пение Бесси, рокот Коулмена Хоукинса, – разве это не иллюзии и даже хуже того – не иллюзии других иллюзий, головокружительная цепочка, уходящая в прошлое, к обезьяне, заглядевшейся на себя в воде в первый день сотворения мира? Но Бэпс плакала и Бэпс сказала: «О, нет, нет, все это есть», и Оливейра, тоже немного пьяный, чувствовал, что правда все-таки заключалась в том, что Бесси и Хоукинс были иллюзиями, потому что только иллюзии способны подвинуть верующих, только иллюзии, а не истина. И более того – все дело было в посредничестве, в том, что эти иллюзии проникали в такую область, в такую зону, которую невозможно вообразить и о которой бессмысленно думать, ибо любая мысль разрушила бы ее, едва попытавшись к ней приблизиться. Дымовая рука вела его за руку, подвела к спуску, если это был спуск, указала центр, если это был центр, и вложила ему в желудок, – где водка ласково бурлила пузырьками и кристалликами, – вложила нечто, что было другой иллюзией, бесконечно отчаянной и прекрасной, и некогда названо бессмертием. Закрыв глаза, он в конце

<sup>32</sup> Хочу быть чьей-то игрушкой (искаж. англ.).

концов сказал себе, что, если такой ничтожный ритуал способен вывести его из состояния эгоцентризма и указать иной центр, более достойный внимания, хотя и непостижимый, значит, не все еще потеряно и, быть может, когда-нибудь, при других обстоятельствах и после других испытаний, постижение окажется возможным. Но постижение чего и зачем? Он был слишком пьян, чтобы дать хотя бы рабочую гипотезу, хотя бы набросать возможные пути. Однако не настолько пьян, чтобы перестать думать об этом, и этих жалких мыслей ему хватало, чтобы чувствовать, как он уходит все дальше и дальше от чего-то слишком далекого, слишком ценного, чтобы обнаружить себя в этом мешающем и убаюкивающем тумане – в тумане из водки, тумане из Маги, тумане из Бесси Смит. Перед глазами у него пошли зеленые круги, все завертелось, и он открыл глаза. После этих пластинок у него всегда начинались позывы к рвоте.

[\(—106\)](#)

## 13

Окутанный дымом Рональд ставил пластинку за пластинкой, не трудясь узнать, кому что нравится, и Бэпс время от времени поднималась с полу и, порывшись в старых, на 78 оборотов пластинках, тоже отбирала пять или шесть и клала на стол, под руку Рональду, который наклонился и гладил Бэпс, а та, смеясь, изгибалась и садилась ему на колени, хоть на минутку, потому что Рональд хотел спокойно, без помехи послушать «Don't play me cheap». Сатчмо пел:

Don't you play me cheap  
Because I look so meek [<sup>33</sup>], —

и Бэпс выгибалась на коленях у Рональда, возбужденная пением Сатчмо (тема была довольно простенькой и допускала некоторые вольности, с которыми Рональд ни за что бы не соглашался, исполняя Сатчмо «Yellow Dog Blues»), кроме того, затылок ей щекотало дыхание Рональда, пахнувшее водкой. Устроившись на самом верху удивительной пирамиды из дыма, музыки, водки и рук Рональда, то и дело позволявших себе вылазки, Бэпс снисходительно, сквозь полуопущенные веки, поглядывала вниз на сидящего на полу Оливейру; тот прислонился к стене, к эскимосскому ковру из шкур, совершенно опьяневший, и курил с характерным для латиноамериканца выражением досады и горечи; иногда между затяжками проступала улыбка, вернее, рот Оливейры, которого Бэпс некогда (не теперь) так желала, кривился в улыбке, а все лицо оставалось будто смытым и отсутствующим. Как бы ни нравился ему джаз, Оливейра все равно никогда бы не отдался этой игре, как Рональд, не важно, хорош был джаз или плох, «горячий» он был или «холодный», негритянский или нет, старый или современный, чикагский или нью-орлеанский, — никогда бы не отдался тому джазу, тому, что сейчас состояло из Сатчмо, Рональда и Бэпс, «Baby don't you play me cheap because I look so meek», а за ним — прорыв трубы — желтый фаллос, прорезывающий воздух почти с физическим ощущением удовольствия, и в конце — три нисходящих звука, гипнотизирующих звука чистого золота, и совершенная пауза, в которой весь свинг мира трепетал целое невыносимое мгновение, и следом — вершина наслаждения, точно извержение семени, точно ракета, пущенная в ждущую любви ночь, и руки Рональда, ласкающие шею Бэпс, и шипение иглы на все еще крутящейся пластинке, и тишина, которая всегда присутствует в настоящей музыке, а потом словно медленно отделяется от стен, выползает из-под дивана и раскрывается, как губы или бутон.

— Ça alors [<sup>34</sup>], — сказал Этьен.

— Да, великая эпоха Армстронга, — сказал Рональд, разглядывая стопку пластинок, отобранных Бэпс. — Если хотите, это похоже на период гигантизма у Пикассо. А теперь оба они — старые свиньи. Остается надеяться, что врачи когда-нибудь научатся омолаживать... Но пока еще лет двадцать они будут проедать нам плешь, вот увидите.

— Нам — не будут, — сказал Этьен. — Мы ухватили у них самое-самое, а потом послали их к черту, и меня, наверное, кто-нибудь пошлет туда же, когда придет время.

— Когда придет время, — скромная просьба, парень, — сказал Оливейра, зевая. — Однако мы действительно сжалились и послали их к черту. Добили не пулей, а славой. Все, что они делают сейчас, — как под копирку, по привычке, подумать только, недавно Армстронг впервые приехал в Буэнос-Айрес, и ты даже не представляешь, сколько тысяч кретинов были убеждены, что слушают нечто сверхъестественное, а Сатчмо, у которого трюков больше, чем у старого боксера, по-прежнему виляет жирными бедрами, хотя сам устал от всего этого, и за каждую

<sup>33</sup> Игре твоей грош цена: я тихий только на вид. (англ., пер. Б. Дубина)

<sup>34</sup> Здесь: ну вот (фр.).

ноту привык брать по твердой таксе, а как он поет, ему давно плевать, поет как заведенный, и надо же, некоторые мои друзья, которых я уважаю и которые двадцать лет назад заткнули бы уши, поставь ты им «Mahogany Hall Stomp», теперь платят черт знает сколько за то, чтобы послушать это перестоявшее варево. Разумеется, у меня на родине питаются преимущественно перестоявшим варевом, замечу при всей моей к ней любви.

– Начни с себя, – сказал Перико, оторвавшись от словаря. – Приехал сюда по примеру соотечественников, у которых принято отправляться в Париж, как говорится, за воспитанием чувств. В Испании этому учатся в обычных борделях или на корриде, черт возьми.

– Или у графини Пардо Басан, – сказал Оливейра, еще раз зевнув. – Впрочем, ты прав, парень. Мне бы не здесь сидеть, а играть в игры с Тревелером. Но ты, конечно, не знаешь, что это такое. Ничего-то вы не знаете. А о чем, в таком случае, говорить?

(—115)

## 14

Он встал из своего угла и, прежде чем шагнуть, осмотрел пол, как будто необходимо было хорошенько выбрать, куда поставить ногу, потом с такими же предосторожностями ступил еще раз, подтянул другую ногу и в двух метрах от Рональда с Бэпс встал как вкопанный.

– Дождь, – сказал Вонг, пальцем указывая на окно мансарды.

Неторопливо разогнав рукой облако дыма, Оливейра поглядел на него дружески и с удовлетворением.

– Хорошо еще, что высоко, а то некоторые селятся на уровне земли и ничего, кроме башмаков и коленок, не видят. Где ваш стакан?

– Вот он, – сказал Вонг.

Оказалось, что стакан рядом и полон до краев. Они пили, смакуя, а Рональд выдал мм Джона Колтрейна, от которого Перико передернуло. А потом – Сидни Беше, времен Парижа сладких меренг, должно быть, в пику испанским пристрастиям некоторых.

– Это правда, что вы работаете над книгой о пытках?

– О, это не совсем так, – сказал Вонг.

– А как?

– В Китае иная концепция искусства.

– Я знаю, мы все читали китайца Мирбо. Правда, что у вас есть фотографии пыток, сделанные в Пекине в тысяча девятьсот двадцать каком-то году?

– О нет, – сказал Вонг, улыбаясь. – Они очень мутные, не стоит даже показывать.

– Правда ли, что самую страшную вы всегда носите с собой в бумажнике?

– О нет, – сказал Вонг.

– И что показывали ее как-то в кафе женщинам?

– Они так настаивали, – сказал Вонг. – Беда в том, что они ничего не поняли.

– Ну-ка, – сказал Оливейра, протягивая руку. Вонг, улыбаясь, устался на его руку. Оливейра был слишком пьян, чтобы настаивать. Он отхлебнул водки и переменял позу. На ладонь ему лег сложенный вчетверо лист бумаги. На месте Вонга в дыму он увидел только улыбку, улыбку Чеширского кота, и что-то вроде поклона. Столб был, наверное, метров двух высотой, но столбов было восемь, если только это не был тот же самый, восьмикратно повторенный во всех четырех сериях, по два кадра в каждой, слева направо и сверху вниз; столб был везде один и тот же, только в различных ракурсах, и разными были приговоренные, привязанные к столбу, лица ассистентов (виднелась даже одна женщина слева) и поза палача, который – из любезности к фотографировавшему – всегда отступал немного влево; у этого американского или датского этнолога была твердая рука, но «кодак» выпуска двадцатого года и вспышка довольно плохие, а потому, начиная со второй фотографии, там, где ножом отрубили правое ухо и прекрасно было видно обнаженное тело, все остальные – из-за крови, покрывавшей тело, из-за дурного качества пленки или проявителя – разочаровывали, особенно начиная с четвертого кадра, где приговоренный выглядел темной бесформенной массой, из которой выступал открытый рот и одна очень белая рука; последние три кадра практически были одинаковыми, если не считать поз палача: на шестой он склонился над сумкой с ножами, выбирая подходящий (но, должно быть, хитрил, потому что, если бы они начинали с глубоких порезов...), и если взглянуть хорошенько, то можно было заметить, что жертва была еще жива, так как одна нога У нее была вывернута наружу, несмотря на то что ноги привязывались веревкой, а голова откинута назад и рот, как всегда, открыт; на пол китайцы со свойственной им заботливостью, видимо, насыпали толстый слой опилок, потому что овальная лужа почти совершенной формы вокруг столба не увеличивалась от фотографии к фотографии. «Седьмая – критическая», – голос Вонга шел откуда-то издалека, из-за водки и табачного дыма; надо было

вглядеться внимательно, потому что кровь сочилась струйками из двух медальонов на груди – глубоко вырезанных сосков (операция была проделана между вторым и третьим кадром), но на седьмой фотографии как раз видна была ножевая рана: линия ног, чуть раздвинутых, слегка изменилась, однако стоило приблизить фотографию к лицу, как становилось ясно, что изменилась не линия ног, а линия паха: вместо неясного пятна, различного на первом кадре, теперь видна была кровоточащая ямка, и струйки крови текли по ногам. У Вонга были все основания пренебрегать восьмым кадром, потому что на нем приговоренный, всякому ясно, не был живым – у живого голова таким образом не падает набок. «По моим сведениям, вся операция продолжалась полтора часа», – церемонно заметил Вонг. Лист снова был сложен вчетверо, и черный кожаный бумажник раскрылся, как кайманья пасть, чтобы проглотить его вместе с клубами дыма. «Разумеется, сегодня Пекин уже не тот. Сожалею, что показал вам такую примитивную вещь, но остальные документы нельзя носить в кармане – они требуют пояснений, непосвященным не понять...» Голос шел из такого дальнего далека, что казался продолжением виденных образов, как будто толкование давал церемонный ученый муж. И наконец, а может, наоборот, как начало, Биг Билл Брунзи принялся взывать: «See, see, rider» [<sup>35</sup>], и, как всегда, самые непримиримые элементы стали сливаться в один гротескный коллаж, но их еще требовалось подогнать друг к другу при помощи водки и кантовских категорий, этих транквилизаторов на все случаи слишком грубого вторжения реальной действительности. О, почти всегда так: закрыть глаза и вернуться назад, в ватный мир какой-нибудь другой ночи, тщательно выбрав ее из раскрытой колоды, «See, see, rider, – пел Биг Билл, еще один мертвец – see what you have done» [<sup>36</sup>].

(—114)

---

<sup>35</sup> Смотри, смотри, всадник (англ.).

<sup>36</sup> Смотри, что ты натворил (англ.).



## 15

И ему совершенно естественно вспомнилась ночь на канале Сен-Мартен и предложение, которое ему сделали (за тысячу франков), – посмотреть фильм на дому у одного швейцарского врача. Ничего особенного, просто какой-то кинооператор из стран оси ухитрился заснять во всех подробностях повешение. Двухчастевый фильм, да, немой. Но снят – потрясающе, качество гарантируется. Заплатить можно после просмотра.

Минуты, которая была необходима, чтобы решиться и сказать «нет», а затем отправиться ко всем чертям вместе с гаитянской негритянкой, подружкой подружки швейцарского врача, ему хватило, чтобы вообразить сцену повешения и встать – а как же иначе? – на сторону жертвы. Кем бы он ни был, тот, кого вешали, слова тут излишни, но если он знал (а тонкость, возможно, как раз и состояла в том, чтобы дать ему это понять), – если он знал, что камера будет регистрировать все, до мельчайших деталей, его гримасы и судороги во имя того, чтобы доставить удовольствие дилетантам из будущего... «Что бы со мной ни случилось, никогда я не буду равнодушным, как Этьен, – подумал Оливейра. – Дело в том, что меня одолевает неслыханная мысль: человек создан совсем ради другого. А значит... До чего же ничтожны орудия, с помощью которых приходится ему искать выход». Хуже всего, что он разглядывал фотографии Вонга спокойно потому, что пытали на них – не его отца, к тому же производилась эта пекинская операция сорок лет назад.

– Подумать только, – обратился Оливейра к Бэпс, которая вернулась к нему, успев поссориться с Рональдом, желавшим во что бы то ни стало послушать Ма Рэйни, вместо Фатса Уоллера, – уму непостижимо, какими мы можем быть мерзавцами. О чем думал Христос, лежа в постели перед сном, а? Одно мгновение – и улыбающийся человеческий рот может превратиться в мохнатого паука и куснуть.

– О, – сказала Бэпс. – *Delirium tremens* [37], что ли. Не ко сну будь сказано.

– Все поверхностно, детка, все воспринимается на уровне э-пи-дер-ми-са. Интересно: мальчишкой, дома, я все время цапался со старшими – с бабкой, с сестрой, со всем этим генеалогическим старьем, и знаешь из-за чего? Из-за разных глупостей, но в том числе и потому, что для женщин любая смерть в их квартале или, как они говорят, любая кончина всегда гораздо важнее, чем события на фронте, чем землетрясение, чем убийство десяти тысяч человек и тому подобное. Иногда ведешь себя, как кретин, такой кретин, что и вообразить трудно, Бэпс, ты можешь прочесть Платона от корки до корки, сочинения отцов церкви и классиков, всех до единого, знать все, что следует знать сверх всего познаваемого, и тут как раз доходишь до невероятного кренизма: начинаешь цепляться к своей собственной неграмотной матери и злиться, что бедная женщина слишком переживает смерть какого-то несчастного русского, жившего на соседнем углу, или чьей-то двоюродной племянницы. А ты донимаешь ее разговорами о землетрясении в Баб-эль-Мандебе или о наступлении в районе Вардар-Инга и хочешь, чтобы бедняжка страдала по поводу ликвидации трех родов иранского войска, что ей представляется чистой абстракцией...

– *Take it easy*, – сказала Бэпс. – *Have a drink, sonny, don't be such a murder to me* [38].

– А по сути, дело все в том же: глаза не видят, сердце не болит... Какая необходимость, скажи, пожалуйста, проедать старухам плешь нашим пуританским недоумочным вонючим кренизмом? Ну и гадко у меня сегодня на душе, дружище. Пойду-ка я лучше домой.

Но не так-то просто оказалось оторваться от теплого эскимосского ковра и от созерцания – издали и почти равнодушно – того, как Грегоровиус вовсю интервьюировал чувства Маги.

<sup>37</sup> Белая горячка (лат.).

<sup>38</sup> Здесь: не бери в голову. Выпей лучше, дорогой, и не терзай меня (англ.).

Оторвавшись наконец, он почувствовал себя так, словно ощипал старого полудохлого петуха, который отбивался, как настоящий мужчина, каким некогда был, и облегченно вздохнул, узнав тему «Blue Interlude», – эта пластинка была у него когда-то в Буэнос-Айресе. Теперь он уже не помнил состава оркестра, знал только, что в нем играли Бенни Картер и, кажется, Чью Берри, а когда началось труднейшее своей простотой соло Тедди Уилсона, решил, что, пожалуй, лучше остаться до конца действия. Вонг говорил, что на улице льет, весь день лило. А это, наверное, Чью Берри, если только не сам Хоукинс, нет, это не Хоукинс. «Поразительно, как все мы оскудеваем, – подумал Оливейра, глядя на Магу, которая смотрела на Грегоровиуса, а тот – куда-то в пространство. – Кончим тем, что отправимся в Bibliothèque Mazarine <sup>[39]</sup> составлять библиографию о мандрагоре, об ожерельях банту или об истории ножниц для стрижки ногтей». Подумать только, как велик выбор подобных пустячков и какие огромные перспективы открываются для исследования и тщательного изучения. Одна только история ножниц для стрижки ногтей – две тысячи книг надо прочесть для полной уверенности в том, что до 1675 года этот предмет не упоминался. А потом в какой-нибудь Магунсии кто-нибудь напечатает оттиск с изображением женщины, обрезающей себе ноготь. Не ножницами, но чем-то на них смахивающими. В XVIII веке некий Филипп Мак-Кинни запатентовал в Балтиморе первые ножницы с пружинкой: ура, проблема решена, можно теперь стричь ногти на ногах, невероятно толстые и быстро отрастающие, – жми до отказа, ножницы потом сами раскроются автоматически. Пятисот картотечных карточек с названиями трудов, целый год работы. А если заняться вопросом изобретения винта или употреблением глагола «gond» в литературе пали VIII века... Любое, за что ни возьмись, будет интересно, лишь бы не гадать, о чем там разговаривают Мага с Грегоровиусом. Городи, что угодно и из чего вздумается, лишь бы спрятаться за этой баррикадой, любое годится в дело – и Бенни Картер, и маникюрные ножницы, и глагол «gond» – еще стакан, – церемония сажания на кол, изысканнейшим образом осуществленная палачом, не опустившим ни малейшей подробности, а не хочешь – затеряйся в блюзах Джека Дюпре – вот баррикада так баррикада, лучше не сыскать, потому что (пластинка страшно зашипела):

Say goodbye, goodbye to whisky  
 Lordy, so long to gin,  
 Say goodbye, goodbye to whisky  
 Lordy, so long to gin.  
 I just want my reefers,  
 I just want to feel high again <sup>[40]</sup>.

Значит, наверняка Рональд вернется сейчас к Биг Биллу Брунзи под действием ассоциаций, которые хорошо знал и уважал, и Биг Билл расскажет им еще об одной баррикаде, расскажет тем самым тоном, каким, должно быть, Мага теперь рассказывает Грегоровиусу о своих детских годах в Монтевидео, расскажет без горечи, matter of fact <sup>[41]</sup>.

They said if you white, you all right,  
 If you brown, stick aroun,  
 But as you black,  
 Mm, mm, brother, get back, get back, get back <sup>[42]</sup>.

<sup>39</sup> Библиотеку Мазарини (фр.).

<sup>40</sup> Пора прикончить, прикончить виски,и джин доконать пора,пора прикончить, прикончить виски,и джин доконать пора.Поднять бы покруче парус —и пусть нас несут ветра...(англ., пер. Б. Дубина)

<sup>41</sup> Здесь: как само собой разумеющееся (англ.).

<sup>42</sup> Если ты белый, ты прав в любом деле,если коричневый – как повернуть.А если ты черный,мм... мм... брат, будь покорный, покорный, покорный.(искаж., англ.)

– Тут ничего не поделаешь, воспоминания меняют в прошлом только самое неинтересное.

– Да, ничего не поделаешь, – сказала Мага.

– Я попросил рассказать о Монтевидео потому, что вы для меня – как карточная королева: вся тут, но вся плоская, без объема. Поймите меня правильно.

– А Монтевидео даст объем... Чепуха все это, чепуха, и только. Что вы, например, называете старыми временами, прошлым? Для меня, например, все, что было в прошлом, случилось как вчера, как вчера поздно вечером.

– Уже лучше, – сказал Грегоровиус. – Теперь вы королева, но уже не карточная.

– В общем, для меня все это – недавнее. Оно – далеко, очень далеко, но было недавно. Мясные лавчонки на площади Независимости, ты их помнишь, Орасио, кругом мясо жарят на решетке, и от этого площадь так грустно выглядит, наверняка накануне случилось убийство и мальчишки у дверей лавчонок выкрикивают газетные новости.

– И лотерейные выигрыши, – сказал Орасио.

– Зверское убийство в Сальто, политика, футбол...

– Рейсовый пароход, рюмочка рома анкап. Словом, местный колорит, черт подери.

– Должно быть, очень экзотично, – сказал Грегоровиус и подвинулся так, чтобы заслонить Оливейру и остаться чуть более наедине с Магой, которая глядела на свечи, тихонько отстукивая ногой внутренний ритм.

– В Монтевидео в ту пору не было времени, – сказала Мага. – Мы жили у самой реки в огромном доме с двором. Мне там всегда было тринадцать лет, я хорошо помню. Синее небо, тринадцать лет и косоглазая учительница из пятого класса. Однажды я влюбилась в белобрысого мальчишку, который продавал на площади газеты. Он кричал «гзе-е-ета», а у меня вот тут отдавалось эхом... Ходил в длинных штанах, хотя было ему лет двенадцать, не больше. Мой папа не работал и целыми вечерами читал в патио, пил мате. А мама умерла, когда мне было всего пять лет, я росла у теток, они потом уехали в деревню. А тогда мне было тринадцать лет, и мы с папой остались вдвоем. Дом был многонаселенный. В нем жили еще итальянец, две старухи и негр с женой, они всегда по ночам ссорились, а потом пели под гитару. У негра были рыжие глаза, похожие на влажный рот. Мне они всегда были немножко противны, и я старалась уходить играть на улицу. Но отец, если видел меня на улице, всегда загонял в дом и наказывал. Один раз, когда он меня порол, я заметила, что негр подглядывал в приоткрытую дверь. Я даже не сразу поняла, подумала сначала, что он чешет ногу, что-то там делает рукой... А отец был слишком занят – лупил меня ремнем. Странно, оказывается, можно совершенно неожиданно потерять невинность и даже не узнать, что вступил в другую жизнь. В ту ночь на кухне негритянка с негром пели допоздна, а я сидела в комнате; днем я так наплакалась, что теперь мучила жажда, а выходить из комнаты не хотелось. Папа сидел у дверей и пил мате. Жара была страшная, вам в ваших холодных странах не понять, какая бывает жара. Влажная жара – вот что самое страшное, из-за того, что река близко; но, говорят, в Буэнос-Айресе еще хуже, Орасио говорит, гораздо хуже, не знаю, может быть. А в ту ночь одежда прилипала к телу, и все без конца пили мате, я раза два или три выходила во двор попить воды из-под крана, туда, где росли герани. Мне казалось, что в том кране вода прохладнее. На небе не было ни звездочки, герань пахла резко, это очень красивые, броские цветы, вам, наверное, случалось гладить листик герани. В других комнатах уже погасили свет, а папа ушел в лавку к одноглазому Рамосу, и я внесла в дом скамеечку, мате и пустой котелок – папа всегда оставлял их у дверей, а бродяги с соседнего пустыря крали. Помню, когда я шла через двор, выглянула луна и я остановилась посмотреть – от луны у меня всегда мурашки по коже, – я задрала голову, чтобы оттуда, со звезд, могли меня увидеть, я верила в такие вещи, мне ведь всего тринадцать было. Потом попила еще немного из-под крана и пошла к себе в комнату, наверх, по железной

лестнице, на которой я однажды, лет девяти, вывихнула ногу. А когда собиралась зажечь свечку на столике, чья-то горячая рука схватила меня за плечо, я услышала, что запирают дверь, а другая рука заткнула мне рот, и я почувствовала вонь, негр щупал меня и тискал, что-то бормотал в ухо и обшлюнявил мне все лицо, разодрал платье, а я ничего не могла поделать, даже не кричала, потому что знала: он убьет меня, если закричу, а я не хотела, чтобы меня убивали, что угодно – только не это, умирать – хуже оскорбления нету и нет большей глупости на свете. Что ты на меня так смотришь, Орасио? Я рассказываю, как меня в нашем доме-муравейнике изнасиловали, Грегоровиусу хотелось знать, как мне жилось в Уругвае.

– Рассказывай со всеми подробностями, – сказал Оливейра.

– Не обязательно, достаточно общей идеи, – сказал Грегоровиус.

– Общих идей не бывает, – сказал Оливейра.

(—120)

## 16

– Он ушел почти на рассвете, а я даже плакать не могла.

– Мерзавец, – сказала Бэпс.

– О, Мага вполне заслуживает такого внимания, – сказал Этьен. – Одно, как всегда, странно – дьявольский разлад между формой и содержанием. В случае, о котором ты рассказывала, механизм полностью совпадает с механизмом того, что происходит между двумя возлюбленными, не считая легкого сопротивления и, возможно, некоторой агрессивности.

– Глава вторая, раздел четвертый, параграф А, – сказал Оливейра. – «Presses Universitaires Françaises» [43].

– Ta gueule, – выругался Этьен.

– Короче, – заключил Рональд, – настало, кажется, время послушать что-нибудь вроде «Hot and Bothered» [44].

– Подходящий заголовок для славных воспоминаний, – сказал Оливейра, поднимая стакан. – Храбрый малый был этот негр, а?

– Не надо шутить, – сказал Грегоровиус.

– Сами напросились, приятель.

– Да вы пьяны, Орасио.

– Конечно, пьян. И это великий миг, час просветления. А тебе, детка, придется подыскивать какую-нибудь геронтологическую клинику. Посмотри на Осипа, ты ему годков двадцать добавила своими милыми воспоминаниями.

– Он сам просил, – обиделась Мага. – Сперва просят, а потом недовольны. Налей мне водки, Орасио.

Но, похоже, Оливейра не был расположен больше путаться-мешаться между Магой и Грегоровиусом, который бормотал никому не нужные объяснения. Гораздо нужнее оказалось предложение Вонга сварить кофе. Крепкий и горячий, по особому рецепту, перенятому в казино «Ментона». Предложение было принято единодушно, под аплодисменты. Рональд, нежно поцеловав этикетку, поставил пластику на проигрыватель и торжественно опустил иглу. На мгновение могучий Эллингтон Увлёк их сказочное импровизацией на трубе, а вот и Бэби Кокс, за ним, мягко и как бы между прочим, вступил Джонни Ходжес и пошло крещендо (ритм за тридцать лет у него стал тверже – старый, хотя все еще упругий тигр), крещендо напряженных и в то же время свободных риффов, и на глазах родилось маленькое чудо: swing ergo existo [45]. Прислонившись к эскимосскому ковру и глядя сквозь рюмку водки на зеленые свечи (как мы ходили на набережную Межиссери смотреть рыбок), совсем легко согласиться с пренебрежительным определением, которое Дюк дал тому, что мы называем реальной действительностью: «It don't mean a thing if it ain't that swing» [46], но почему все-таки рука Грегоровиуса перестала гладить Магу по голове, бедный Осип совсем сник, тюлень, да и только, как расстроила его эта приключившаяся в стародавние времена дефлорация, просто жаль смотреть на него, такого напряженного в этой обстановке, где музыка, сламывая любое сопротивление, расслабляла и размягчала, плела и сплетала все в единое дыхание, и вот уже словно одно на всех огромное сердце забилося в едином покойном ритме. И тут хриплый голос пробился

---

<sup>43</sup> Издательство французской высшей школы (фр.).

<sup>44</sup> Блюз, исполнявшийся Д. Эллингтоном.

<sup>45</sup> Здесь: я играю свинг, следовательно, существую (англ.).

<sup>46</sup> Что не свинг – того на свете нет (англ.).

сквозь заигранную пластинку со старым, времен Возрождения, изложением древней анакреонтовской тоски, с чикагским *carpe diem* [47] 1929 года:

You so beautiful but you gotta die some day,  
 You so beautiful but you gotta die some day,  
 All I want's little lovin' before you pass away [48].

Время от времени случалось так, что слова давно умерших совпадали с тем, о чем думали живые (если только последние были живы, а те действительно умерли). «You so beautiful. Je ne veux pas mourir sans avoir compris pourquoi j'avais vecu» [49]. Блюз, Рене Домаль, Орасио Оливейра, «but you gotta die some day, you so beautiful but» – и потому Грегоровиус так хочет знать прошлое Маги, чтобы она чуть-чуть меньше умерла от той окончательной смерти, которая все уносит куда-то, от той смерти, которая есть незнание того, что унесено временем; он хочет поместить ее в свое принадлежащее ему время you so beautiful but you gotta, поместить и любить не просто призрак, который позволяет гладить его волосы при свете зеленых свечей, – бедный Осип, как скверно кончается ночь, просто невероятно, да еще эти башмаки Ги-Моно, but you gotta die some day, и негр Иренео (позже, когда он окончательно вотрется к ней в доверие, Мага расскажет ему и про Ледесму, и про типов из ночного карнавала – словом, всю целиком сагу о Монтевидео). И тут Эрл Хайнс с бесстрастным совершенством изложил первую вариацию темы «I ain't got nobody» так, что даже Перико, зачитавшийся каким-то старьем, поднял голову и слушал, а Мага как приткнулась головой к коленям Грегоровиуса, так и застыла, уставившись на паркет, на кусок турецкого ковра, на красную прожилку, уходившую к центру, на пустой стакан на полу у ножки стула. Хотелось курить, но она не станет просить сигарету у Грегоровиуса, не знает почему, но не станет, не попросит и у Орасио, хотя почему не попросит у Орасио – знает: не хочется смотреть ему в глаза и видеть, как он опять засмеется в отместку за то, что она прилепилась к Грегоровиусу и за всю ночь ни разу не подошла к нему. Она чувствовала себя неприкаянной, и оттого в голову лезли возвышенные мысли и строчки из стихов, попадавшие, как ей казалось, в самое яблочко, например, с одной стороны: «I ain't got nobody, and nobody cares for me» [50], что, однако, было не совсем так, поскольку по крайней мере двое из присутствовавших пребывали в дурном настроении по ее милости, и в то же время строка из Перса: «Tu est là, mon amour, et je n'ai lieu qu'en toi...» («Ты – здесь, любовь моя, мне некуда идти, но лишь в тебя...»), и Мага цеплялась за это «мне некуда идти» и за «Ты – здесь, любовь моя», и было легко и приятно думать, что у тебя просто нет иного выхода, кроме как закрыть глаза и отдать свое тело на волю судьбы, – пусть его берет, кто хочет, пусть оскверняют и восторгаются им, как Иренео, будь что будет, а музыка Хайнса накладывалась бы на красные и синие пятна, что пляшут под веками, и у них, оказывается, есть имена – Волана и Валене, слева – бешено крутится Волана («and nobody cares for me»), а наверху – Валене, словно звезда, утопающая в яркой, как у Пьеро делла Франчески, сини, «et je n'ai lieu qu'en toi». Волана и Валене. Рональду никогда не сыграть на рояле, как Эрл Хайнс, а надо бы им с Орасио иметь эту пластинку и заводить ее по ночам, в темноте, и научиться любить друг друга под эти томительные музыкальные переливы, под эти фразы, похожие на долгие нервные ласки, «I ain't got nobody», а теперь на спину, вот так, на плечи, а руки закинуть за шею и пальцы запустить в волосы, еще, еще, и вот все закручивается в последний, финальный, вихрь, Валене

<sup>47</sup> Здесь: лови момент (лат.).

<sup>48</sup> Ты хороша на диво, но срок настает всему, ты хороша на диво, но срок настает всему, дай же хоть кроху ласки, пока не ушла во тьму. (англ., пер. Б. Дубина)

<sup>49</sup> Ты хороша на диво (англ.). Не хочу умирать, не узнав, зачем жил (фр.).

<sup>50</sup> Нет у меня никого, и никому нет дела до меня (англ.).

сливается с Волана, «tu est là, mon amour and nobody cares for me» <sup>[51]</sup>. Орасио – там, и никому она не нужна, никто не гладит ее по голове, Валене и Волана куда-то пропали, а веки болят – так крепко она зажмурилась, но тут что-то сказал Рональд и запахло кофе, о, этот дивный запах кофе, Вонг, дорогой Вонг, Вонг, Вонг.

Она выпрямилась и, часто моргая, поглядела на Грегоровиуса, помятого и грязного Грегоровиуса. Кто-то подал ей чашку.

[\(—137\)](#)

---

<sup>51</sup> Ты – здесь, любовь моя, и никому нет дела до меня (фр., англ.).

## 17

- Мне не хочется говорить о нем походя, – сказала Мага.
- Не хочется – не надо, – сказал Грегоровиус. – Я просто спросил.
- Я могу говорить о чем-нибудь другом, если вы просто хотите, чтобы я говорила.
- Зачем вы так?
- Орасио – все равно что мякоть гуайавы, – сказала Мага.
- Что значит – мякоть гуайавы?
- Орасио – все равно что глоток воды в бурю.
- А, – сказал Грегоровиус.

– Ему бы родиться в те времена, о которых любит рассказывать мадам Леони, когда немножко выпьет. В те времена, когда люди не волновались – не дергались, когда трамвай возило не электричество, а лошади, а войны велись на полях сражения. Тогда еще не было таблеток от бессонницы, мадам Леони говорит.

– Прекрасная, золотая пора, – сказал Грегоровиус. – В Одессе мне тоже рассказывали об этих временах. Мама рассказывала, она так романтично выглядела с распущенными волосами... На балконах выращивали ананасы, и никто не пользовался ночными горшками – что-то необыкновенное. Только Орасио в эту сладкую картину у меня не вписывается.

– У меня – тоже, но, может, там ему было бы не так грустно. Здесь ему все причиняет страдание, все, даже аспирин. Правда, вчера вечером я дала ему аспирин, у него зуб болел. Он взял таблетку и смотрит на нее, никак не может заставить себя проглотить. И такие чудные вещи говорил, мол, противно пользоваться вещами, которых, по сути дела, не знаешь, вещами, которые кто-то другой придумал для того, чтобы унять нечто, чего он тоже не знает... Вы слышали, как он умеет переворачивать все.

– Вот вы несколько раз употребили слово «вещь», – сказал Грегоровиус. – Слово не бог весть какое, однако годится для объяснения того, что происходит с Орасио. Совершенно очевидно, что он – жертва увещевания.

– Что такое увещевание? – спросила Мага.

– Довольно неприятное ощущение: не успеешь осознать какую-то вещь, как начинаешь ею терзаться. Сожалею, что приходится пользоваться абстрактным и даже аллегорическим языком, но я имею в виду следующее: Оливейра, мягко говоря, патологически чувствителен к давлению всего, что его окружает, к давлению мира, в котором он живет, ко всему тому, что ему выпало на долю. Одним словом, обстоятельства слишком угнетают его. А еще короче: все в мире причиняет ему страдание. Вы это сочувствовали, Лусиа, и со свойственной вам прелестной наивностью вообразили, будто Оливейра может быть счастлив в карманной Аркадии, измышленной по рецепту какой-нибудь мадам Леони или моей одесской матери. Я полагаю, вы не поверили тому, что я рассказывал про ананасы на балконе.

– И про ночные горшки – тоже, – сказала Мага. – В это трудно поверить.

Ги-Моно угораздило проснуться как раз в тот момент, когда Рональд с Этьеном решили послушать Джелли Ролла Мортон; он открыл один глаз и пришел к выводу, что спина, которая вырисовывалась на фоне зеленых свечей, принадлежала Грегоровиусу. Его невольно передернуло: мало приятного, проснувшись в постели, первым делом увидеть горящие зеленые свечи; дождь за окном мансарды странным образом переключался с тем, что он только что видел во сне, а снилось ему какое-то нелепое место, однако залитое солнцем, и Габи расхаживала там в чем мать родила и крошила хлеб огромным, точно утки, глупым-преглупым голубям. «Как болит голова», – подумал Ги. Его совсем не интересовал Джелли Ролл Мортон, хотя на фоне дождя за окном довольно занятно звучали слова:



«*Stood in a corner, with her feet soaked and wet...*»? [52] Ну конечно, Вонг тотчас же состряпал бы какую-нибудь теорию о реальном и поэтическом времени; интересно, Вонг на самом деле говорил, что собирается сварить кофе? Габи крошит хлеб голубям, и тут как раз Вонг, вернее, голос Вонга раздался откуда-то из-за голых ног Габи, расхаживающей по буйно цветущему саду: «По особому рецепту казино „Ментона“. Вполне возможно, что в довершение всего появится и Вонг с полным кофейником.

Джелли Ролл сидел за роялем и ногою тихонько отстукивал ритм, за неимением ударного инструмента. Джелли Ролл пел «*Mamie's Blues*», наверное, чуть покачиваясь и уставившись на какую-нибудь лепнину на потолке или на муху, которая летает туда-сюда, а то и просто на пятно, что маячит перед глазами. «*Two-nineteen done took my baby away...*» [53] Наверное, это и есть жизнь – поезда, которые увозят и привозят людей, в то время как ты с промокшими ногами стоишь на углу и слушаешь механическое пианино и взрывы хохота, которые несутся из зала, а ты трещаешь у входа, потому что не всегда есть деньги войти внутрь. «*Two-nineteen done took my baby away...*» Бэпс, наверное, столько раз ездила на поезде, она любит уезжать на поезде, да и как не любить, если в конце пути ждет дружок и если Рональд поглаживает ее по бедру, вот так, нежно, как сейчас, будто пишет музыку у нее на коже, «*Two-seventeen'll bring her back some day*» [54], и, конечно, в один прекрасный день другой поезд привозил ее обратно, поди знай, стоял ли там на платформе Джелли Ролл, но вот он, рояль, и вот он, блюз Мамми Десдум, вот он, тут, когда дождь заливает окна парижских мансард, в час ночи, и ноги промокли, и проститутка бормочет «*If you can't give a dollar, gimme a lousy dime*» [55], – скорее всего Бэпс говорила, что-то похожее в Цинциннати, все женщины где-нибудь и когда-нибудь говорят что-нибудь в этом роде, даже в королевских постелях, у Бэпс своеобразное представление о королевских постелях, но как бы то ни было, какая-то женщина наверняка сказала что-то вроде «*If you can't give a million, gimme a lousy grand*» [56] – все зависит от того, каковы запросы, да что же это рояль у Джелли Ролла звучит так печально, совсем как этот дождь за окном, который разбудил Ги и довел до слез Магу, а Вонг с кофе все не идет и не идет.

– Хватит, – со вздохом сказал Этьен. – Сам не понимаю, как терплю эту муру. Душещипательная, ничего не скажешь, но мура.

– Ну, разумеется, это не Пизанелло, – сказал Оливейра.

– И даже не Шенберг, – подхватил Рональд. – Зачем же просили поставить? Тебе не только ума не хватает, но и сердца. Наверное, не таскался ночью по улице с мокрыми ногами? А вот Джелли Ролл поет, старик, так, что сразу видно: знает, о чем поет.

– Я рисую лучше, когда у меня ноги сухие, – сказал Этьен. – И не пытайся пронять меня доводами из арсенала Армии спасения. Лучше поставь что-нибудь не такое глупое, какое-нибудь соло Сонни Роллинса, например. Эти, из «*West Coast*» [57], по крайней мере наводят на мысль о Джэксоне Поллоке или о Тоби – видно, во всяком случае, что они вышли из возраста пианолы и акварельных красок.

– Он способен верить в прогресс искусства, – сказал Оливейра, зевая. – Не обращай на него внимания, Рональд, и свободной рукой достань-ка пластиночку «*Stack O'Lee Blues*», – что ни говори, а соло на рояле там, на мой взгляд, заслуживает внимания.

– Что касается прогресса в искусстве, то это – архипопулярная чушь, – сказал Этьен. – Однако в джазе, как и в любом другом искусстве, полно шантажистов. Одно дело – музыка,

<sup>52</sup> Стояла на углу, и ноги все промокли (англ.).

<sup>53</sup> Двести девятнадцатый увез мою крошку... (англ.).

<sup>54</sup> Двести семнадцатый привезет мне ее обратно (англ.).

<sup>55</sup> Если не можете дать мне доллар, дайте вшивый десятицентовик (англ.).

<sup>56</sup> Здесь: если не можете дать миллион, дайте вшивую тысячу (англ.).

<sup>57</sup> Название музыкальной группы.

которая может передать эмоцию, и совсем другое – эмоция, которая норовит сойти за музыку. Выразить отцовскую скорбь через *фа-диез* то же самое, что писать сарказм желто-фиолетово-черными мазками. Нет, дружок, искусство начинается до или за пределами этого, но только не этим.

Похоже, никто не собирался ему возражать, потому что тут как раз появился Вонг, с кофейником, и Рональд, пожав плечами, поставил «*Warung's Pennsylvanians*»<sup>[58]</sup>; сквозь ужасное шипение и треск пробилась тема, которая так очаровывала Оливейру, сперва на трубе, а потом – на рояле, все – в ужасной записи, сделанной на старом фонографе, в исполнении простенького оркестрика еще джазовых времен, но в конце концов разве не из таких вот стареньких пластинок, не из *show boats*<sup>[59]</sup>, не из представлений в Сторивилле и родилась единственная универсальная музыка века, та, что сближала людей больше и лучше, чем эсперанто, ЮНЕСКО или авиалинии, музыка достаточно простая, чтобы стать универсальной, и достаточно хорошая, чтобы иметь собственную историю, в которой были свои взлеты, отречения и ересь, свои чарльстоны, свое *black bottom*<sup>[60]</sup>, свои шимми, свои фокстроты, свои стомпы, свои блюзы, и если уж снизойти до классификации и ярлыков, до разделения на стили, то – и свинг, и бибоп, и кул, свой романтизм и классицизм, «горячий» и «головной» джаз – словом, человеческая музыка с собственной историей, в отличие от животной танцевальной музыки, от всех этих полек, вальсов и самб, музыка, которую признают и ценят как в Копенгагене, так и в Мендосе или в Кейптауне, музыка, которая соединяет и приближает друг к другу всех этих юношей с дисками под мышкой, она подарила им названия и мелодии, особый шифр, позволяющий опознавать друг друга, чувствовать себя сообществом и не столь одинокими, как прежде, пред лицом начальников в конторе, родственников – в кругу семьи и бесконечно горьких любовей; музыка, допускающая любое воображение и вкусы, афоническую серию-78 с Фредди Кеппардом или Банком Джонсоном, реакционную исключительность диксиленда, академическую выучку Бикса Бейдербека, прыжок в великую авантюру Телониуса Монка, Хор-эса Силвера или Теда Джонса, вычурность Эррола Гарнера или Арта Тэйтума; не говоря уж о раскаяниях и отступничествах, о пристрастии к маленьким музыкальным группам, странным записям под таинственными псевдонимами и названиями, продиктованными сиюминутными причудами фирм или капризами времени, и эти франкмасонские сборища по субботним вечерам в студенческой комнатухе или в каком-нибудь подвальчике, где девушкам нравится танцевать под «*Star Dust*» или «*When your man is going to put you down*», а от них самих слабо и сладко пахнет духами и разгоряченной кожей, и они позволяют целовать себя, когда уже ночь на дворе, а тут еще поставят «*The blues with a feeling*», и никто уже не танцует, а только стоят покачиваются, и на душе делается беспокойно, нечисто и гадко, и каждый, без исключения, ласково шаря по спине девушки, начинает испытывать желание содрать с нее тоненький лифчик, а девушки, полуоткрыв рот, отдаются сладостному страху и ночи, и вдруг труба врывается и за всех мужчин разом одной жаркой фразой пронзает всех девушек, и они опадают, как подкошенные, в объятия своих партнеров, и больше нет ничего, только недвижный бег, только воздушный рывок в ночь, а потом потихоньку рояль приводит их в себя, измученных, умиротворенных и по-прежнему девственных – до следующей субботы; и все это – музыка, музыка, которая внушает страх тем, кто привык на все взирать из ложи, тем, кто считает, что это – ненастоящее, если нет отпечатанных по всем правилам программки и капельдинеров, которые проводят вас на места согласно купленным билетам, ибо мир таков, а джаз – как птица, что летает, прилетает, пролетает и перелетает, не зная границ и преград; неподвластный таможенным досмотрам, джаз странствует по всему миру, и сегодня вечером в Вене поет Элла Фитц-

<sup>58</sup> Популярный ансамбль.

<sup>59</sup> Плавающих театров (англ.).

<sup>60</sup> Черное дно (англ.).

джеральд, а в это же самое время в Париже Кении Кларк открывает какой-нибудь cave <sup>[61]</sup>, а в Перпиньяне бегают по клавишам пальцы Оскара Питерсона, и повсюду – в Бирмингеме, в Варшаве, в Милане, в Буэнос-Айресе, в Женеве, во всем мире – Сатчмо, вездесущий, как сам господь бог, ниспославший ему этот дар, и что бы ни случилось, а он – будет, как дождь, как хлеб, как соль, невзирая на нерушимые традиции и национальные устои, на разность языков и своеобычие фольклоров, как туча, не знающая границ, как лазутчики воздух и вода, как прообраз формы, нечто, что было до всего и находится подо всем, что примиряет мексиканцев с норвежцами, а русских с испанцами, и вновь приобщает всех к забытому, неизвестному, порочному и злему внутреннему огню, и хоть ненадолго, но возвращает их к истокам, которые они предали, показывая, что, возможно, были другие пути и тот, что избрали они, – не единственный и не лучший или что, может, были другие пути и тот, что избрали они, – лучший, но были все-таки и другие, по которым отрадно было бы пройти, но они не пошли по ним или пошли было, но не прошли, как следовало, и еще что человек – всегда больше, чем просто человек, и меньше, чем человек; больше потому, что заключает в себе то, на что джаз намекает, что обходит и даже предвосхищает, и меньше потому, что эту свободу человек превратил в эстетическую или нравственную игру, в какие-то шахматы, где сам ограничился ничтожной ролью слона или коня, свел ее к определению свободы, которую изучают в школах, в тех самых школах, где никогда не учили и никогда не будут учить детей, что такое первый такт регтайма и первая фраза в блюзе, и так далее и тому подобное.

I could sit right here and think a thousand miles away,  
 I could sit right here and think a thousand miles away,  
 Since I had the blues this bad, I can't remember the day... <sup>[62]</sup>

(—97)

<sup>61</sup> Здесь: подвальчик (фр.).

<sup>62</sup> И где б ни сидел я, всюду мне снился далекий край, И где б ни сидел я, всюду мне снился далекий край, И так мне здесь было худо, что лучше не поминай... (англ., пер. Б. Дубина)

## 18

Не к чему было задаваться вопросом, что он делает тут в этот час с этими людьми, добрыми друзьями, которых он не знал вчера и не узнает завтра, людьми, с которыми он по чистой случайности пересекся во времени и пространстве. Бэпс, Рональд, Осип, Джелли Ролл, Эхнатон – какая разница? Привычные тени в привычном свете зеленых свечей. Пьянка в самом разгаре. А водка что-то слишком крепкая.

Если бы все это можно было экстраполировать, разобраться в том, что такое Клуб, что такое «Cold Wagon Blues», понять любовь Маги, постичь все до мельчайшей зазубринки, все, что ощущаешь кончиками собственных пальцев – каждую куклу и того, кто дергает ее за ниточки, осознать скрытый механизм любого чуда и воспринять их не как символы иной, возможно, недостижимой реальности, Но как силотворящее начало (ну и язык, какой кошмар), указующее, в каком направлении бежать, – если бы все это было возможно, то кинуться по этому пути следовало бы, вероятно, сию же минуту, но для этого надо оторваться от эскимосской шкуры, чудесной, теплой и почти душистой, до ужаса эскимосской, однако надо оторваться и выйти на лестничную площадку, спуститься вниз, спуститься одному, выйти на улицу, выйти одному, и пойти, пойти одному, до угла, одинокого угла, до кафе Макса, одинокого Макса, до фонаря на улице Бельшаз, где... где ты – один. И возможно, один уже с этой минуты.

Но все это – пустая ме-та-фи-зи-ка. Потому что Орасио и слова... Короче, слова для Орасио... (Этот вопрос столько раз пережевывался в бессонные ночи.) Взять бы за руку Магу, Магу: Маг, Мага, Магиня, вывести ее под дождь, увести за собой, как дымок сигареты, как что-то свое, неотъемлемое, увести под дождь. И снова заняться любовью, но так, чтобы и Маге было хорошо, а не только затем, чтобы побыть вместе и разбежаться, словно ничего и не было, ибо такая легкость в отношениях скорее всего прикрывает бесполезность любых попыток по-настоящему. стать близкими, – на такую близость способна марионетка, действующая в соответствии с алгоритмом, грубо говоря, общим для ученых собак и полковничьих дочерей. И если бы все это – жиденький рассвет, который начинал липнуть к окну мансарды, и печальное лицо Маги, глядящей на Грегоровиуса, глядящего на Магу, глядящую на Грегоровиуса, и Бэпс, которая снова плачет втихомолку, невидимая для Рональда, а тот не плачет, а словно утонул в нимбе сигаретного дыма и водочных испарений, и Перико, этот испанский призрак, взобравшийся на табурет презрения и дешевого словоблудия, – если бы все это можно было экстраполировать, если бы всего этого не было, не было на самом деле, а лишь находилось здесь для того только, чтобы кто-нибудь (кто угодно, но в данный момент – он, потому что именно он об этом думал и только он мог с точностью знать, что он думает, вот тебе, затрепанный старикашка Картезий!), – чтобы кто-нибудь из всех, кто здесь есть, попотев как следует, вгрызаясь зубами и вырывая, – уж не знаю что, но вырывая с корнем – из всего этого смог выдавить крошечную цикаду спокойствия, малюсенького сверчка радости, и выйти через какую угодно дверь в какой угодно сад (столь же аллегорический для всех остальных, как и мандала аллегорична для всех), и в этом саду сумел бы сорвать один-единственный цветок, и пусть цветок этот будет Мага, или Бэпс, или Вонг, лишь бы их можно было объяснить и, объяснив, воссоздать где-нибудь вне Клуба, представить, какими они становятся вне этих стен, когда выйдут за этот порог, наверное, все это – не что иное, как тоска по земному раю, по идеалу чистоты, притом что чистота неминуемо будет плодом упрощения; пал слон, пали ладьи, пешки покидают доску, и посреди поля, огромные, как антрацитные львы, остаются короли в окружении самого чистого, самого непорочного, бьющегося до конца воинства; на заре в роковом поединке скрестятся копыта, и станет ясно, кому какая участь, и наступит мир и покой. Да, идеал беспорочности и чистоты – в совокуплении кайманов, а какая может быть чистота у этой, боже ты мой, девы Марии с

грязными ногами; невинно чиста шиферная крыша, на которой сидят голуби и, само собою, гадят сверху на головы дамам, а те выходят из себя от бешенства и дурного характера, чистота у... Ради бога, Орасио, ну ради бога.

Чистота.

(Хватит. Ну – иди. Иди в отель, прими душ, почитай «Собор Парижской богородицы» или «Волчицы из Машкуль» [63], протрезвись, в конце концов. Тоже экстраполяция, а так же.)

*Чистота.* Жуткое слово. *Чисто*, а потом – *та*. Вдумайся. Какой бы сок из этого слова выжал Бриссе! Да ты, никак, плачешь? Э-эй, ты плачешь?

Понять, эту *чисто-ту*, как понимаем чудо богоявления. Damn the language [64]. Не умом понять, а воспринять как чудо. И тогда почему не допустить мысли, что можно обрести потерянный рай: не может такого быть, что мы находимся здесь, а существовать не существуем. Бриссе? Человек произошел от лягушки... Blind as a bat, drunk as a butterfly, foutu, royalement foutu devant les portes que peut-être... [65] (Кусок льда на затылок – и спать. Но вот проблема: кто играет – Джонни Доддс или Альберт Николас? Доддс, почти наверняка. Однако надо спросить у Рональда.) Скверный стих бьет крылом в окно мансарды: «Пред тем как отзвучать и пасть в забвенье...». Что за чушь. До чего же я пьян. The doors of preception, by Aldley Huxdous. Get yourself a tiny bit of mescalina, brother, the rest is bliss and diarrhoea [66]. Но давайте серьезно (конечно, это Джонни Доддс, бывает, к выводу приходишь косвенным путем. Ударник – не кто иной, как Зутти Снглтон, ergo [67] кларнет – Джонни Доддс, джазология – наука детективная и легко дается после четырех часов утра. Совет бесполезный для приличных господ и духовных лиц). Давайте все-таки серьезно. Орасио, прежде чем попробуем принять вертикальное положение и направиться на улицу, давайте-ка зададим себе вопрос положе руку на сердце (руку на сердце? Или зуб на зуб – словом, что-то в этом роде. Топономия, топономия-анатомия, в двух томах с иллюстрациями), – зададим же себе вопрос, стоит ли браться за это дело, и если да, то – сверху или снизу (однако же совсем неплохо, мысли ясные, водка пригвозждает их, как булавки – бабочек, А – это А, a rose is a rose is a rose, April is the cruellest month [68], все – по местам, всему – свое место, и каждую розу – на ее место, а роза есть роза, есть роза, есть роза...). Уф! «Beware of the Jabberwocky my son» [69].

Орасио чуть поскользнулся и ясно увидел все, что хотел увидеть. Он не знал, браться за дело сверху или снизу и надо ли выбиваться из сил или вести себя, как сейчас, – рассеянно, не сосредоточиваясь, глядеть на дождь за окном, на зеленые свечи, на пепельное, точно у ягненка, лицо Маги и слушать Ма Рэйни, которая поет «Jelly Beans Blues». Пожалуй, лучше так, лучше рассеянно и не сосредотачиваюсь ни на чем в особенности впитывать все, словно губка, потому что достаточно смотреть хорошенько и правильными глазами – все впитаешь, как губка. Он был не настолько пьян, чтобы не чувствовать: его дом разлетелся вдребезги и в нем самом ничто не осталось на своем месте, но в то же время – это было так, чудесным образом так, – на полу, на потолке, под кроватью и даже в тазу плавали и сверкали звезды и осколки вечности, стихи, подобные солнцам, и огромные лица женщин и котов, горевшие яростью, при-сущей обоим этим родам; и все это – вперемешку с мусором и яшмовыми пластинками его собственного языка, где слова денно и нощно яростно сражались и бились, как муравьи со сколопендрами, и где богохульство сожительствовало с точным изложением сути вещей, а чистый

<sup>63</sup> Роман А. Дюма.

<sup>64</sup> Проклятый язык (англ.).

<sup>65</sup> Слеп, как летучая мышь, пьян, как мотылек (англ.), пропал, грандиозно пропал у самых врат, которые, быть может... (фр.)

<sup>66</sup> Врата восприятия Олдри Хаксдоса. Возьми-ка, братец, немножко травки, а дальше – блюз и понос (англ.).

<sup>67</sup> Следовательно (лат.).

<sup>68</sup> Здесь: роза есть роза, есть роза, есть роза. Апрель – самый суровый месяц (англ.). – Цитаты из Г. Стайн и Т. С. Элиота.

<sup>69</sup> О, бойся Бармаглота, сын (англ.). – Из стихотворения Л. Кэрролла.

образ – с отвратительным жаргоном. Беспорядок царил и растекался по комнатам, и волосы обвисали грязными патлами, глаза поблескивали стеклом, на руках – полно карт и ни одной комбинации, и повсюду – куда ни глянь – неподписанные записки, письма без начала и без конца, на столах – остывающие тарелки с супом, а пол усеян трусиками, гнилыми яблоками, грязными бинтами. Все это разрасталось, разрасталось и превращалось в чудовищную музыку, еще более страшную, чем плюшевая тишина ухоженных квартир его безупречных родственников, но посреди этого беспорядка, где прошлое не способно было отыскать даже пуговицы от рубашки, а настоящее брилось осколком стекла, поскольку бритва была погребена в одном из цветочных горшков, посреди времени; готового закрутиться, подобно флюгеру под любым ветром, человек дышал полной грудью и чувствовал, что живет до безумия остро, созерцая беспорядок, его окружавший, и задавая себе вопрос, что из всего этого имеет смысл. Сам по себе беспорядок имеет смысл, если человеку хочется уйти от себя самого; через безумие, наверное, можно обрести рассудок, если только это не тот рассудок, который все равно погибнет от безумия. «Уйти от беспорядка к порядку, – подумал Оливейра. – Да, но есть ли порядок, который не представлялся бы еще более гнусным, более страшным, более неизлечимым, чем любой беспорядок? У богов порядком называется циклон или лейкоцитоз, у поэтов – антиматерия, жесткое пространство, лепестки дрожащих губ, боже мой, как же я пьян, надо немедленно отправляться спать». А Мага почему-то плачет, Ги исчез куда-то, Этьен – за Перико, а Грегоровиус, Вонг и Рональд не отрывают глаз от пластинки, что медленно крутится, тридцать три с половиной оборота в минуту – ни больше, ни меньше, и на этих оборотах – «Oscar's Blues», ну, разумеется, в исполнении самого Оскара Питерсона, пианиста, у которого есть что-то тигриное и плюшевое одновременно, в общем, человек за роялем и дождь за окном – одним словом, литература.

[\(—153\)](#)

## 19

Кажется, я тебя понимаю, – сказала Мага, глядя его по волосам. – Ты ищешь то, сам не знаешь что. И я – тоже, я тоже не знаю, что это. Только ищем мы разное. Помнишь, вчера говорили... Если ты скорее всего Мондриан, то я – Виейра да Силва.

– Вот как, – сказал Оливейра. – Значит, я – Мондриан.

– Да, Орасио.

– Словом, ты считаешь: я прямолинеен и жесток.

– Я сказала только, что ты – Мондриан.

– А тебе не приходило в голову, что за Мондрианом может сразу же начинаться Виейра да Силва?

– Ну конечно, – сказала Мага. – Только ты пока еще не отошел от Мондриана. Ты все время чего-то боишься и хочешь уверенности. А в чем – не знаю... Ты больше похож на врача, чем на поэта.

– Бог с ними, с поэтами. А Мондриана не обижай сравнением.

– Мондриан – чудо, но только ему не хватает воздуха. И я в нем немного задыхаюсь. И когда ты начинаешь говорить, что надо обрести целостность, то все очень красиво, но совсем мертвое, как засушенные цветы или вроде этого.

– Давай разберемся, Лусиа, ты хорошо понимаешь, что такое целостность?

– Я, конечно, Лусиа, но ты меня не должен так называть, – сказала Мага. – Целостность, ну конечно, понимаю, что такое целостность. Ты хочешь сказать, что все у тебя в жизни должно соединяться одно к одному, чтобы потом ты мог все сразу увидеть в одно и то же время. Ведь так?

– Более или менее, – согласился Оливейра. – Просто невероятно, как трудно тебе даются абстрактные понятия. Целостность, множественность... Ты не можешь воспринимать их просто так, без того, чтобы приводить примеры. Ну конечно, не можешь. Ну, давай посмотрим: твоя жизнь тебе представляется целостной?

– Нет, думаю, что нет. Она вся из кусочков, из отдельных маленьких жизней.

– А ты, в свою очередь, проходила сквозь них, как эта нитка сквозь эти зеленые камни. Кстати, о камнях: откуда у тебя это ожерелье?

– Осип дал, – сказала Мага. – Ожерелье его матери, из Одессы.

Оливейра спокойно потянул мате. Мага отошла к низенькой кровати, которую им дал Рональд, чтобы было где спать Рокамадуру. Теперь от этой постели, Рокамадура и ярости соседей просто некуда было деваться, все до одной соседки убеждали Магу, что в детской больнице ребенка вылечат скорее. Едва получили телеграмму от мадам Ирэн, пришлось, ничего не поделаешь, ехать за город, заворачивать Рокамадура в тряпки и одеяла, втискивать в комнату эту кроватку, топить печку и терпеть капризы и писк Рокамадура, когда наступало время ставить ему свечи или кормить из соски: все вокруг пропахло лекарствами. Оливейра снова потянул мате, искоса глянул на конверт «deutsche Grammophon Gesellschaft» [70], давным-давно взятый у Рональда, который бог весть как долго теперь не удастся послушать, пока тут пищит и вертится Рокамадур. Его приводило в ужас и то, как неловко Мага запеленывала и распеленывала Рокамадура, и какими чудовищными песнями развлекала его, и какой запах время от времени шел из кроватки Рокамадура, и пеленки, и писк, и дурацкая уверенность Маги, которая, похоже, считала, что все ничего, что она делает для своего ребенка то, что должна делать, и не пройдет двух-трех дней, как Рокамадур поправится. Ничего страшного. Да, но что он тут делает? Еще месяц назад у каждого была своя комната, а потом они решили жить вместе. Мага

---

<sup>70</sup> Немецкая фирма грампластинок (нем.).

сказала, что так они станут тратить меньше, смогут покупать одну газету на двоих, не будет оставаться недоеденного хлеба, она начнет обстирывать Орасио, а сколько сэкономят на отоплении и электричестве... Оливейра почти восхищался столь грубой атакой здравого смысла. И в конце концов согласился, потому что старик Труй никак не мог выбраться из трудностей и задолжал ему около тридцати тысяч франков, а самому Оливейре тогда было все равно, как жить, – одному или с Магой, он был упрям, но дурная привычка бесконечно долго жевать-пережевывать всякую новую мысль приводила к тому, что он долго все обдумывал, но потом непременно соглашался. И он действительно поверил, что постоянное присутствие Маги избавит его от лишнего словопереживания, но, разумеется, он и не подозревал, что случится с Рокамадуром. Однако даже в этой обстановке ему иногда удавалось на короткие минуты остаться один на один с собою, пока плач и визг Рокамадура целительно не возвращали его в мрачное настроение. «Видно, меня ждет судьба персонажей Уолтера Патера, – думал Оливейра. – Один монолог кончаю, другой начинаю, просто порок. Марий-эпикурец – это мой рок, не рок, а порок. Единственно, что спасает, – вонь от детских пеленок».

– Я всегда подозревал, что в конце концов ты станешь спать с Осипом, – сказал Оливейра.

– У Рокамадура жар, – сказала Мага.

Оливейра снова потянул мате. Надо беречь травку, в парижских аптеках мате стоит пятьсот франков за килограмм, а в лавке у вокзала Сен-Лазар продавали совершенно отвратительную траву с завлекательной рекомендацией: «*Maté sauvage, cueilli par les indiens*» [71] – слабительное, противовоспалительное средство, обладающее свойствами антибиотика. К счастью, один адвокат из Росарио, который, между прочим, приходился Оливейре братом, привез ему из-за моря пять кило этой травы фирмы «Мальтийский крест», но от нее оставалось совсем немного. «Кончится трава, и мне – конец, – подумал Оливейра. – Единственный настоящий диалог, на который я способен, – диалог с этим зеленым кувшинчиком». Он изучал необычайные повадки мате: как пахуче начинает дышать трава, залитая кипятком, и как потом, когда настой высосан, она оседает, теряет блеск и запах до тех пор, пока снова струя воды не взбодрит ее, ни дать ни взять запасные легкие – подарок родной Аргентины – для тех, кто одинок и печален. Вот уже некоторое время для Оливейры стали иметь значение вещи незначительные, и в том, что он сосредоточил все внимание на зеленом кувшинчике, были свои преимущества: его коварный ум никогда не пытался приложить к этому зеленому кувшинчику омерзительные понятия, какие вызывают в мозгу горы, луна, горизонт, начинающая созревать девочка, птица или лошадь. «Пожалуй, и этот кувшинчик с мате мог бы мне помочь отыскать центр, – думал Оливейра (и мысль о том, что Мага – с Осипом, становилась все более жиденькой и теряла свою осязаемость, в эту минуту оказывался сильнее и заслонял все зеленый кувшинчик, маленький резвый вулканчик с ценным кратером и хохолком пара, таявшим в стылом воздухе комнаты, стылом, сколько ни топи печку, которую надо бы протопить часов в девять). – А этот центр, хоть я и не знаю, что это такое, этот центр не мог бы топографически выразить целостность? Вот я хожу по огромной комнате с плитчатым полом, и одна из плиток пола является единственно правильной точкой, где надо встать, чтобы перспектива упорядочилась. Правильная точка – подчеркнул Оливейра, чуть подшучивая над собой для пущей уверенности, что слова говорят не рада слов. – Как при анаморфном изображении, когда нужно найти правильный угол зрения (беда только, что *уголь этотъ бываетъ очень острымъ и тогда приходится почти елозить носомъ по холсту, чтобы бессмысленные мазокъ и штрихъ вдругъ превратились в портретъ Франциска I или в битву при Сенигаллии – словомъ, в нечто невыразимо прекрасное*)». Однако эта целостность, сумма поступков, которые определяют жизнь, похоже, никак не хотела обнаруживаться до тех пор, пока сама жизнь не кончится, как кончился этот спитой мате, иначе говоря, только другие люди, биографы, смогут увидеть ее во всей целостности,

<sup>71</sup> Дикорастущая трава – мате, собранная индейцами (фр.).



но это для Оливейры уже не имело ни малейшего значения. Проблема состояла в том, чтобы понять собственную целостность, даже не будучи героем, не будучи святым, преступником, чемпионом по боксу, знаменитостью или духовным наставником. Понять целостность во всей ее многогранности, в то время как эта целостность еще подобна закручивающемуся вихрю, а не осевшему, остывшему, спитому мате.

– Дам ему четверть таблетки аспирина, – сказала Мага.

– Если заставишь его проглотить – считай, ты выше Амбруаза Паре, – сказал Оливейра. – Иди попей мате, я заварил свежий.

Вопрос насчет целостности возник, когда ему показалось, что очень легко угодить в самую скверную западню. Еще студентом, на улице Вьямонт, в тридцатые годы, он обнаружил (сперва с удивлением, а потом с иронией), что уйма людей совершенно непринужденно чувствовали себя цельной личностью, в то время как их цельность заключалась лишь в том, что они неспособны были выйти за рамки единственного родного языка и собственного пораженного ранним склерозом характера. Эти люди выстраивали целую систему принципов, в суть которых никогда не вдумывались и которые заключались в передаче слову, вербальному выражению всего, что имеет силу, что отталкивает и, наоборот, притягивает, а на деле означало беспардонное вытеснение и подмену всего этого их вербальным коррелятом. Таким образом, долг, нравственность, отсутствие нравственности и безнравственность, справедливость, милосердие, европейское и американское, день и ночь, супруги, невесты и подружки, армия и банк, флаг и золото, абстрактное искусство и битва при Монте-Касерос становились чем-то вроде наших зубов и волос, некой роковой данностью, чем-то, что не проживается и не осмысливается, ибо это так, ибо это неотъемлемая часть нас самих, нас дополняющая и укрепляющая. Мысль о насилии, которое творило слово над человеком, о надменной мести, которую вершило слово над своим родителем, наполняла горьким разочарованием думы Оливейры, а он силился прибегнуть к помощи своего заклятого врага и при его посредничестве добраться туда, где, быть может, удалось бы освободиться и уже одному следовать – как и каким образом, светлой ли ночью, пасмурным днем? – следовать к окончательному примирению с самим собой и действительностью, в которой существуешь. Не пользуясь словом, прийти к слову (как это далеко и как невероятно), не пользуясь доводами рассудка, познать глубинную целостность, которая бы явила суть таких, казалось бы, незамысловатых вещей, как пить мате и глядеть на голую попку Рокамадура и снующие пальцы Маги, сжимающие ватный тампончик, под вопли Рокамадура, которому не нравится, когда ему что-то суют в попку.

(—90)

## 20

– Я так и думал, что ты в конце концов станешь спать с Осипом, – сказал Оливейра.

Мага завернула сына, который кричал уже не так громко, и протерла пальцы ваткой.

– Ради бога, вымой руки как полагается, – сказал Оливейра. – И выброси всю эту пакость.

– Сейчас, – сказала Мага. Оливейра выдержал ее взгляд (это всегда ему трудно давалось), а Мага взяла газету, расстелила ее на кровати, собрала ватные тампончики, завернула в газету и вышла из комнаты выбросить все это в туалет на лестнице. Когда она возвратилась, ее порозовевшие руки блестели; Оливейра протянул ей мате. Мага опустилась в низкое кресло и прилежно взялась за кувшинчик. Она всегда портила мате, зря крутила трубочку или даже принималась мешать трубочкой в кувшинчике, словно это не мате, а каша.

– Ладно, – сказал Оливейра, выпуская табачный дым через нос. – Могли хотя бы сообщить мне. А теперь придется тратить шестьсот франков на такси, перевозить пожитки на другую квартиру. Да и комнату в это время года найти не так просто.

– Тебе незачем уезжать, – сказала Мага. – Все это ложный вымысел.

– Ложный вымысел, – сказал Оливейра. – Ну и выражение – как в лучших аргентинских романах. Остается только захохотать нутряным хохотом над моей беспримерной смехотворностью, и дело в шляпе.

– Не плачет больше, – сказала Мага, глядя на кроватку. – Давай говорить потише, и он поспит подольше после аспирина. И вовсе я не спала с Грегоровиусом.

– Да нет, спала.

– Не спала, Орасио. А то бы я сказала. С тех пор как я тебя узнала, ты у меня – единственный. Ну и пусть, можешь смеяться над моими словами. Говорю, как умею. Я не виновата, что не умею выразить то, что чувствую.

– Ладно, ладно, – сказал Оливейра, заскучав, и протянул ей свежий мате. – Это, наверное, ребенок так на тебя влияет. Вот уже несколько дней, как ты превратилась в то, что называется матерью.

– Но ведь Рокамадур болен.

– Возможно, – сказал Оливейра. – Но что поделаешь, лично я вижу и другие перемены. По правде говоря, мы с трудом стали переносить друг друга.

– Это ты меня не переносишь. И Рокамадура не переносишь.

– Что верно, то верно, ребенок в мои расчеты не входил. Трое в одной комнате – многовато. А мысль о том, что с Осипом нас четверо, невыносима.

– Осип тут ни при чем.

– А если подумать хорошенько? – сказал Оливейра.

– Ни при чем, – повторила Мага. – Зачем ты мучаешь меня, глупенький? Я знаю, что ты устал и не любишь меня больше. И никогда не любил, придумал себе, что это любовь. Уходи, Орасио, незачем тебе тут оставаться. А для меня такое – не впервой...

Она посмотрела на кроватку. Рокамадур спал.

– Не впервой, – сказал Оливейра, меняя заварку. – Поразительная откровенность в вопросах личной жизни. Осип подтвердит. Не успеешь познакомиться с тобой, как услышишь историю про негра.

– Я должна была рассказать, тебе этого не понять.

– Понять нельзя, но убить может.

– Я считаю, что должна рассказать, даже если может убить. Так должно быть, человек должен рассказывать другому человеку, как он жил, если он любит этого человека. Я про тебя говорю, а не про Осипа. Ты мог рассказывать, а мог и не рассказывать мне о своих подружках, а я должна была рассказать все. Это единственный способ сделать так, чтобы человек ушел

прежде, чем успеет полюбить другого человека, единственный способ сделать так, чтобы он вышел за дверь и оставил нас двоих в покое.

– Способ получить искупление, а глядишь, и расположение. Сперва – про негра.

– Да, – сказала Мага, глядя ему прямо в глаза. – Сперва – про негра. А потом – про Ледесму.

– Ну конечно, потом – про Ледесму.

– И про троих в ночном переулке, во время карнавала.

– Для начала, – сказал Оливейра, потягивая мате.

– И про месье Висента, брата хозяина отеля.

– Под конец.

– И еще – про солдата, который плакал в парке.

– Еще и про этого.

– И – про тебя.

В завершение. То, что я, здесь присутствующий, включен в список, лишь подтверждает мои мрачные предчувствия. Однако для полноты списка тебе бы следовало включить и Грегориуса.

Мага размешивала трубочкой мате. Она низко наклонила голову, и волосы, упав, скрыли от Оливейры ее лицо, за выражением которого он внимательно следил с напускным безразличием.

Потом была ты у аптекаря подружкой,  
За ним – еще двоих сменила друг за дружкой...

Оливейра напевал танго. Мага только пожала плечами и, не глядя на него, продолжала посасывать мате. «Бедняжка», – подумал Оливейра. Резким движением он отбросил ей волосы со лба так, словно это была занавеска. Трубочка звякнула о зубы.

– Как будто ударил, – сказала Мага, притрагиваясь дрожащими пальцами к губам. – Мне все равно, но...

– К счастью, тебе не все равно, – сказал Оливейра. – Если бы ты не смотрела на меня так сейчас, я бы стал тебя презирать. Ты – просто чудо, с этим твоим Рокамадуром и всем остальным.

– Зачем ты мне это говоришь?

– Это мне надо.

– Тебе – надо. Тебе все это надо для того, что ты ищешь.

– Дорогая, – вежливо сказал Оливейра, – слезы портят вкус мате, это знает каждый.

– И чтобы я плакала, тебе тоже, наверное, надо.

– Да, в той мере, в какой я признаю себя виноватым.

– Уходи, Орасио, так будет лучше.

– Возможно. Обрати внимание: уйти сейчас – почти геройский поступок, ибо я оставляю тебя одну, без денег и с больным ребенком на руках.

– Да, – сказала Мага, отчаянно улыбаясь сквозь слезы. – Вот именно, почти геройский поступок.

– А поскольку я – далеко не герой, то полагаю, что лучше мне остаться до тех пор, пока не разберемся, какой линии следовать, как выражается мой брат, который любит говорить красиво.

– Ну так оставайся.

– А ты. понимаешь, по каким причинам я отказываюсь от этого геройского поступка и чего мне это стоит?

– Ну конечно.

– Ну-ка объясни, почему я не уйду.

– Ты не уходишь, потому что довольно буржуазен и думаешь о том, что скажут Рональд, Бэпс и остальные друзья.

– Совершенно верно. Хорошо, что ты понимаешь: ты сама тут совершенно ни при чем. Я не останусь из-за солидарности, не останусь из жалости или потому, что надо давать соску Рокамадуру. Или потому, что нас с тобой якобы что-то еще связывает.

– Иногда ты бываешь такой смешной, – сказала Мага.

– Разумеется, – сказал Оливейра. – Боб Хоуп по сравнению со мной ничто.

– Когда говоришь, что нас с тобой ничего не связывает, ты так складываешь губы...

– Вот так?

– Ну да, потрясающе.

Им пришлось хватать пеленки и обеими руками зажимать ими рот – так они хохотали, просто ужас, того гляди, Рокамадур проснется. И хотя Оливейра, закусив тряпку и хохоча до слез, как мог, удерживал Магу, она все-таки сползла с кресла, передние ножки которого были короче задних, хочешь не хочешь – сползешь, и запуталась в ногах у Оливейры, который хохотал до икоты, так, что в конце концов пеленка выскочила у него изо рта.

– Ну-ка покажи еще раз, как я складываю губы, когда говорю такое, – умолял Оливейра.

– Вот так, – сказала Мага; и они опять скорчились от хохота, а Оливейра согнулся и схватился за живот, и Мага над самым своим лицом увидела лицо Оливейры, он смотрел на нее блестящими от слез глазами. Они так и поцеловались: она подняв голову вверх, а он – вниз головой, и волосы свисали, точно бахрома, а когда они целовались, зубы касались губ другого, потому что рты их не узнавали друг друга, это целовались совсем другие рты, целовались, отыскивая друг друга руками в адской путанице волос и травы, вывалившейся из опрокинутого кувшинчика, и жидкость струйкой стекала со стола на юбку Маги.

– Расскажи, какой Осип в постели, – прошептал Оливейра, прижимаясь губами к губам Маги. – Не могу так больше, кровь к голове приливает ужасно.

– Очень хороший, – сказала Мага, чуть прикусывая ему губу. – Гораздо лучше тебя.

– Послушай, ну и грязи от этого мате. Пойду-ка я прогуляюсь по улице.

– Не хочешь, чтобы я рассказала про Осипа? – спросила Мага. – На глиглико, на птичьем языке.

– Надоел мне этот глиглико. Тебе не хватает воображения, ты все время повторяешься. Одни и те же слова. Кроме того, на глиглико нельзя сказать «что касается».

– Глиглико придумала я, – обиженно сказала Мага. – А ты выдумаешь какое-нибудь словечко и воображаешь, но это не настоящий глиглико.

– Ну так вернемся к Осипу...

– Перестань валять дурака, Орасио, говорю тебе, не спала я с ним. Или я должна поклясться великой клятвой сиу?

– Не надо, кажется, я в конце концов поверю тебе и так.

– И потом, – сказала Мага, – сдается мне, я все-таки стану спать с Осипом, потому только, что ты этого хотел.

– А тебе и вправду этот тип может понравиться?

– Нет. Просто за все в жизни надо платить. От тебя мне не надо ни гроша, а с Осипом я не могу так – у него брать, а ему оставлять несбыточные мечты.

– Ну конечно, – сказал Оливейра. – Ты – добрая самаритянка. И пройти мимо плачущего солдата в парке – тоже не могла.

– Не могла, Орасио. Видишь, какие мы разные.

– Да, милосердие не относится к числу моих достоинств. Я бы тоже мог где-нибудь плакать, и тогда ты...

– Никогда не видела тебя плачущим, – сказала Мага. – Плакать для тебя – излишняя роскошь.

– Нет, как-то раз я плакал.

– От злости, не иначе. Ты не умеешь плакать, Орасио, это одна из вещей, которых ты не умеешь.

Оливейра притянул к себе Магу и посадил на колени. И подумал, что, наверное, запах Маги, запах ее затылка привел его в такую грусть. Тот самый запах, который прежде... «Искать через посредство, – смутно подумалось ему. – Если я чего-нибудь и не умею, то как раз этого, и еще – плакать и жалеть себя».

– Мы никогда не любили друг друга, – сказал он, целуя ее волосы.

– За меня не говори, – сказала Мага, закрывая глаза. – Ты не можешь знать, люблю я тебя или нет. Даже этого не можешь знать.

– Считаешь, я настолько слеп?

– Наоборот, тебе бы на пользу быть чуточку слепым.

– Да, конечно, осязание вместо понимания, поскольку инстинкт идет дальше разума. Магический путь в потемки души.

– Очень бы на пользу, – упрямылась Мага, как она делала всякий раз, когда не понимала, о чем речь, но не хотела в этом признаться.

– Знаешь, и без этого я прекрасно понимаю: мы должны пойти каждый своей дорогой. Я думаю, мне необходимо быть одному, Лусиа; по правде говоря, я еще не знаю, что буду делать. К вам с Рокамадуром, который, по-моему, просыпается, я отношусь несправедливо плохо и не хочу, чтобы так продолжалось.

– О нас с Рокамадуром не надо беспокоиться.

– Я не беспокоюсь, но в этой комнате мы трое без конца путаемся друг у друга под ногами, это неудобно и неэстетично. Я не слеп, как тебе хочется, моя дорогая, а потому зрительный нерв позволяет мне видеть, что ты прекрасно справишься и без меня. Признаюсь: ни одна из моих подруг покуда еще не кончала самоубийством, хотя это признание смертельно ранит мою гордость.

– Да, Орасио.

– Итак, если мне удастся мобилизовать весь свой героизм и проявить его сегодня вечером или завтра утром, у вас тут ничего страшного не случится.

– Ничего, – сказала Мага.

– Ты отвезешь ребенка обратно к мадам Ирэн, а сама вернешься сюда и будешь жить преспокойно.

– Вот именно.

– Будешь часто ходить в кино и, как прежде, читать романы, с риском для жизни станешь прогуливаться по самым злочасным, самым неподходящим кварталам в самые неподходящие часы.

– Именно так.

– И на улицах найдешь массу диковинных вещей, принесешь их домой и сделаешь из них что-нибудь. Вонг обучит тебя фокусам, а Осип будет ходить за тобой хвостом, на расстоянии двух метров, сложив ручки в почтительном подобострастии.

– Ради бога, Орасио, – сказала Мага, обнимая его и пряча лицо.

– Разумеется, мы загадочным образом будем встречать друг друга в самых необычных местах, как в тот вечер, помнишь, на площади Бастилии.

– На улице Даваль.

– Я был здорово пьян, и ты вдруг появилась на углу; мы стояли и смотрели друг на друга, как дураки.

– Я думала, что ты в тот вечер идешь на концерт.

- А ты, дорогая, сказала мне, что у тебя вечером свиданье с мадам Леони.
- И так забавно – встретились на улице Даваль.
- На тебе был зеленый пуловер, ты стояла на углу и утешала какого-то педераста.
- Его взашей вытолкали из кафе, и он плакал.
- А в другой раз, помню, мы встретились неподалеку от набережной Жеммап.
- Было жарко, – сказала Мага.
- Ты мне так до сих пор и не объяснила, что ты искала на набережной Жеммап.
- О, совершенно ничего.
- В кулаке ты сжимала монетку.
- Нашла на краю тротуара. Она так блестела.
- А потом мы пошли на площадь Республики, там выступали уличные акробаты, и мы выиграли коробку конфет.
- Ужасных.
- А еще было: я вышел из метро на Мутон-Дюверне, а ты, моя милая, сидела на террасе кафе в обществе негра и филиппинца.
- А ты так и не объяснил мне, что тебе понадобилось на Мутон-Дюверне.
- Ходил к мозолистке, – сказал Оливейра. – Приемная у нее в фиолетово-красных обоях, а по этому фону – гондолы, пальмы, парочки под луной. Представь все это тысячу раз повторенное размером восемь на двенадцать.
- И ты ходил ради этого, а не ради мозолей.
- Мозолей у меня не было, дорогая моя, а жуткий нарост на ступне. Авитаминоз, кажется.
- Она тебя вылечила? – спросила Мага, подняв голову и глядя на него очень пристально.
- При первом же взрыве хохота Рокамадур проснулся и запищал. Оливейра вздохнул, сейчас все начнется сначала, какое-то время он будет видеть только спину Маги, склонившейся над кроватью, и ее снующие руки. Он взялся за мате, достал сигарету. Думать не хотелось. Мага вышла помыть руки, вернулась. Они выпили два или три кувшинчика мате, почти не глядя друг на друга.
- Хорошо еще, – сказал Оливейра, – что при всем этом мы не устраиваем театра. И не смотри на меня так, подумай немножко – и поймешь, что я хочу сказать.
- Я понимаю, – сказала Мага. – И я смотрю на тебя так не поэтому.
- Ах, значит, ты...
- Да, но совсем чуть-чуть. И лучше нам не говорить на эту тему.
- Ты права. Ладно, похоже, я просто прогуляюсь и вернусь.
- Не возвращайся, – сказала Мага.
- В конце концов, не будем делать из мухи слона, – сказал Оливейра. – Где же, по-твоему, я должен спать? – Гордиев узел, конечно, узел, но на улице – ветер, да и температура – градусов пять ниже нуля.
- Лучше тебе не возвращаться, Оливейра, – сказала Мага. – Сейчас мне легко сказать тебе так. Пойми меня.
- Одним словом, – сказал Оливейра, – сдается, мы немного торопимся поздравить друг друга с *savoir faire* <sup>[72]</sup>.
- Мне тебя так жалко, Орасио.
- Ах вот оно что. Осторожнее с этим.
- Ты же знаешь, я иногда вижу. Вижу совершенно ясно. Представь, час назад мне показалось, что лучше всего мне пойти и броситься в реку.
- Незнакомка в Сене... Но ты, моя дорогая, плаваешь, как лебедь.

---

<sup>72</sup> Здесь: с ловким завершением дела (фр.).

– Мне тебя жалко, – стояла на своем Мага. – Теперь я понимаю. В тот вечер, когда мы встретились с тобой позади Нотр-Дам, я тоже видела, что... Только не хотелось верить. На тебе была синяя рубашка, замечательная рубашка. Это когда мы первый раз пошли вместе в отель, так ведь?

– Не так, но не важно. И ты научила меня говорить на этом своем глиглико.

– Если бы я призналась, что сделала это из жалости...

– Ну-ка, – сказал Оливейра, глядя на нее испуганно.

– В ту ночь ты подвергался опасности. Это было ясно, как будто сигнал тревоги где-то вдали... не умею объяснять.

– Все мои опасности – исключительно метафизические, – сказал Оливейра. – Поверь, меня не станут вытаскивать из воды крючьями. Меня свалит заворот кишок, азиатский грипп или «пежо-403».

– Не знаю, – сказала Мага. – Мне иногда приходит в голову мысль убить себя, но я вижу, что я этого не сделаю. И не думай, что Рокамадур мешает, до него было то же самое. Мысль о том, что я могу убить себя, всегда меня утешает. Ты даже не представляешь... Почему ты говоришь: метафизические опасности? Бывают и метафизические реки, Орасио. И ты можешь броситься в какую-нибудь такую реку.

– Возможно, – сказал Оливейра, – это будет Дао.

– И мне показалось, что я могу тебя защитить. Не говори ничего. Я тут же поняла, что ты во мне не нуждаешься. Мы любили друг друга, и это было похоже на то, как два музыканта сходятся, чтобы играть сонаты.

– То, что ты говоришь, – прекрасно.

– Так и было: рояль – свое, а скрипка – свое, и вместе получается соната, но ты же видишь: по сути, мы так и не нашли друг друга. Я это сразу же поняла, Орасио, но сонаты были такие красивые.

– Да, дорогая.

– И глиглико.

– Еще бы.

– Все: и Клуб, и та ночь на набережной Берс, под деревьями, когда мы до самого рассвета ловили звезды и рассказывали друг другу истории про принцев, а ты захотел пить, и мы купили бутылку страшно дорогой шипучки и пили прямо на берегу реки.

– К нам подошел клошар, – сказал Оливейра, – и мы отдали ему полбутылки.

– А клошар знал уйму всяких вещей – латынь и еще что-то восточное, и ты стал спорить с ним о каком-то...

– Об Аверроэсе, по-моему.

– Да, об Аверроэсе.

– А помнишь еще: какой-то солдат на ярмарочном гулянье ущипнул меня сзади, а ты влепил ему по физиономии, и нас всех забрали в участок.

– Смотри, как бы Рокамадур не услышал, – сказал Оливейра, смеясь.

– К счастью, Рокамадур не запомнит тебя, он еще не видит, что перед ним. Как птицы: клюют и клюют себе крошки, которые им бросают, смотрят на тебя, клюют, улетают... И ничего не остается.

– Да, – сказал Оливейра. – Ничего не остается.

На лестнице кричала соседка с третьего этажа, как всегда, пьяная в это время. Оливейра оглянулся на дверь, но Мага почти прижала его к ней; дрожащая, плачущая, она опустилась на пол и обхватила колени Оливейры.

– Ну что ты так расстраиваешься? – сказал Оливейра. – Метафизические реки – повсюду, за ними не надо ходить далеко. А уж если кому и топиться, то мне, глупышка. Но одно обещаю:

в последний миг я вспомню тебя, дорогая моя, чтобы стало еще горше. Ну чем не дешевый романчик в цветной обложке.

– Не уходи, – шептала Мага, сжимая его ноги.

– Прогуляюсь поблизости и вернусь.

– Не надо, не уходи.

– Пусти меня. Ты прекрасно знаешь, что я вернусь, во всяком случае сегодня.

– Давай пойдем вместе, – сказала Мага. – Видишь, Рокамадур спит и будет спать спокойно до кормления. У нас два часа, пойдем в кафе в арабский квартал, помнишь, маленькое грустное кафе, там так хорошо.

Но Оливейре хотелось пойти одному. Он начал потихоньку высвобождать ноги из объятий Маги. Погладил ее по голове, подцепил пальцем ожерелье, поцеловал ее в затылок, за ухом и слышал, как она плачет вся – даже упавшие на лицо волосы. «Не надо шантажировать, – подумал он. – Давай-ка поплачем, глядя друг другу в глаза, а не этим дешевым хлюпаньем, которому обучаются в кино». Он поднял ей лицо и заставил посмотреть на него.

– Я негодяй, – сказал Оливейра. – И дай мне за это расплатиться. Лучше поплачь о своем сыне, который, возможно, умирает, только не трать слез на меня. Боже мой, со времени Эмиля Золя не было подобных сцен. Пусти меня, пожалуйста.

– За что? – сказала Мага, не поднимаясь с полу и глядя на него, как пес.

– Что – за что?

– За что?

– Ах, спрашиваешь, за что все это. Поди знай, я думаю, что ни ты, ни я в этом особенно не виноваты. Просто мы все еще не стали взрослыми, Лусиа. Это – добродетель, но за нее надо платить. Как дети: играют, играют, а потом вцепятся друг другу в волосы. Наверное, и у нас что-то в этом роде. Надо поразмыслить над этим.

[\(—126\)](#)



## 21

Со всеми происходит одно и то же, статуя Януса – ненужная роскошь, в *действительности* после сорока лет настоящее лицо у нас – на затылке и взгляд в отчаянии устремлен назад. Это, как говорится, самое что ни на есть *общее место*. Ничего не поделаешь, просто надо называть вещи своими именами, хотя от этого скукой сводит рот у нынешней одноликой молодежи. Среди молодых ребят в трикотажных рубашках и юных девиц, от которых сладко попахивает немытым телом, в парях *café crème* [73] в Сен-Жермен-де-Пре, среди этого юного поколения, которое читает Даррела, Бовуар, Дюра, Дуассо, Кено, Саррот, среди них и я, офранцузившийся аргентинец (кошмар, кошмар), не поспевающий за их модой, за их *cool* [74], и в руках у меня – давно устаревший «*Etes-vous fous?*» [75] Рене Кре-веля, в памяти – все еще сюрреализм, во лбу – знак Антонена Арто, в ушах – не смолкли еще «*Ionisations*» [76] Эдгара Вареза, а в глазах – Пикассо (но сам я, кажется, Мондриан, как мне сказали).

«*Tu sèmes des syllabes pour récolter les étoiles*» [77], – поддерживает меня Кревель.

«Каждый делает что может», – отвечаю я. «А эта фемина, *n'arrêtera-t-elle donc pas de secouer l'arbre à sanglots?*» [78]

«Вы несправедливы, – говорю ему я. – Она почти не плачет, почти не жалуется».

Грустно дожить до такого состояния, когда, опившись До одури кофе и наскучавшись так, что впору удавиться, не остается ничего больше, кроме как открыть книгу на Девяносто шестой странице и завести разговор с автором, в то время как рядом со столиками толкуют об Алжире, Аденауэре, о Мижану Бардо, Ги Требере, Сидни Беше, Мишеле Бюторе, Набокове, Цзао Вуки, Луисоне Бобе, а У меня на родине молодые ребята говорят о... о чем же говорят молодые ребята у меня на родине? А вот и не знаю, так далеко меня занесло, но, конечно, не говорят Уже о Спиллиберго, не говорят уже о Хусто Суаресе, не говорят о Тибуроне де Килья, не говорят о Бонини, не говорят о Легисамо. *И это естественно*. Загвоздка в том, что естественное и действительное почему-то вдруг становятся врагами, приходит время – и естественное начинает звучать страшной фальшью, а действительное двадцатилетних и действительное сорокалетних начинают отталкивать друг друга локтями, и в каждом локте – бритва, вспарывающая на тебе одежду. Я открываю новые миры, существующие одновременно и такие чуждые друг другу, что с каждым разом все больше подозреваю: худшая из иллюзий – думать, будто можно находиться в согласии. К чему стремиться быть вездесущим, к чему сражаться со временем? Я тоже читаю Натали Саррот и тоже смотрю на фотографию женатого Ги Требера, но *все это как бы происходит со мной*, меж тем как то, что я делаю по собственной воле и решению, как бы идет из прошлого. В библиотеке своей собственной рукой я беру с полки Кревеля, беру Роберто Арльта, беру Жарри. Меня захватывает сегодняшний день, но смотрю я на него из вчера (я сказал – захватывает?) – получается так, будто для меня прошлое становится настоящим, а настоящее – странным и путаным будущим, в котором молодые ребята в трикотажных рубашках и девицы с распущенными волосами пьют *café crème*, а их ласки, мягкие и неторопливые, напоминают движения кошек и растений.

Надо с этим бороться.

Надо снова включиться в настоящее.

<sup>73</sup> Кофе со сливками (фр.).

<sup>74</sup> «Холодным» джазом (англ.).

<sup>75</sup> «Вы в своем уме?» (фр.)

<sup>76</sup> «Ионизации» (фр.).

<sup>77</sup> Ты сеешь слова, чтобы собирать звезды (фр.).

<sup>78</sup> Когда она перестанет сотрясать дерево своими рыданиями? (фр.)

А поскольку, говорят, я Мондриан, ergo...

Однако Мондриан рисовал свое настоящее сорок лет назад.

(На одной фотографии Мондриан – точь-в-точь дирижер обычного оркестра (Хулио Де Каро, эссо!), в очках, жестком воротничке и с прилизанными волосами, весь – отвратительная дешевая претензия, танцует с низкопробной девицей. Как и какое настоящее ощущал этот танцующий Мондриан? Его холсты – и эта фотография... Непроходимая пропасть.)

Ты просто старый, Орасио. Да, Орасио, ты не Квинт Гораций Флакк, ты жалкий слабак. Ты старый и жалкий Оливейра.

«Il verse son vitriol entre les cuisses des faubourgs» [79], – посмеивается Кревель.

А что поделаешь? Посреди этого великого беспорядка я по-прежнему считаю себя флюгером, а накрутившись вдоволь, пора, в конце концов, указать, где север, а где юг. Не много надо воображения, чтобы назвать кого-то флюгером: значит, видишь, как он крутится, а того не замечаешь, что стрелка его хотела б надуться, будто парус под ветром, и влиться в реку воздушного потока.

*Есть реки метафизические.* Да, дорогая, конечно, есть. Но ты будешь ухаживать за своим ребенком, иногда всплакнешь, а тут уже все по-новому и новое солнце взошло, желтое солнце, которое светит, да не греет. J'habite à Saint-Germain-des-Prés, et chaque soir j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce gros pierrot n'a pas changé, et pour courir le quilledou... [80] Опустит двадцать франков в автомат, и из него Лео Ферре пропоет тебе о своей любви, а не он, так Жильбер Беко или Ги Беар. А у меня на родине: «Хочешь, чтоб жизнь тебе в розовом свете предстала, в щель автомата скорее брось двадцать сентаво...» А может, ты включила радио (в понедельник кончается срок проката, надо будет напомнить) и слушаешь камерную музыку, например Моцарта, или поставила пластинку, тихо-тихо, чтобы не разбудить Рокамадура. Мне кажется, ты не вполне понимаешь, что Рокамадур тяжело болен, очень тяжело, он страшно слаб, и в больнице ему было бы лучше. Но я больше не могу говорить тебе это, одним словом, все кончено, а я слоняюсь тут, кружу, кружусь, ищу, где – север, где – юг, если только я это ищу. Если только это ищу. И если не это, то что же тогда, в самом деле? О, любовь моя, я тоскую по тебе, тобой болит моя кожа, тобой саднит мне горло, я вздыхаю – и как будто пустота заполняет мне грудь, потому что там уже нет тебя.

«Toi, – говорит Кревель, – toujours prêt à grimper les cinq étages des pythonisses faubouriennes, qui ouvrent grandes les portes du futur... [81]

А почему не может быть так, почему мне не искать Магу, сколько раз, стоило мне выйти из дому и по улице Сен добраться до арки, выходящей на набережную Конт, как в плывущем над рекою пепельно-оливковым воздухе становились различимы контуры и ее тоненькая фигурка обрисовывалась на мосту Дез-ар, и мы шли бродить-ловить тени, есть жареный картофель в предместье Сен-Дени и целоваться у баркасов, застывших на канале Сен-Мартен. (С ней я начинал чувствовать все совсем иначе, я начинал ощущать сказочные знамения наступающего вечера, и совсем по-новому рисовалось все вокруг, а на решетках Кур-де-Роан бродяги поднимались в устрашающее и призрачное царство свидетелей и судей...). Почему мне не любить Магу, почему бы не обладать ее телом под десятками одинаково незамутненных небес ценою в шестьсот франков каждое, на постелях с вытертыми и засаленными покрывалами, если в этой головокружительной погоне за призрачным счастьем, похожей на детскую игру в классики, в этой скачке, с запеленутыми в мешок ногами, я видел себя, я значился среди участников, так почему же не продолжать до тех пор, пока не вырвусь из тисков времени, из

<sup>79</sup> Он вливает серную кислоту меж ягодиц предместий (фр.).

<sup>80</sup> Я живу в Сен-Жермен-де-Пре и каждый вечер встречаю Верлена. Этот великий Пьеро не изменился и ради того, чтобы шататься по притонам... (фр.)

<sup>81</sup> Ты всегда готов карабкаться на пятый этаж к гадалке, в предмете, чтобы она распахнула перед тобой двери в будущее... (фр.)

его обезьяньих клеток с ярлыками, из его витрин «Omega Electron Girard Perregaud Vacheron & Constantin» [82], отмеряющих часы и минуты священнейших, кастрирующих нас обязанностей, пока не вырвусь туда, где освобождаешься ото всех пут, и наслаждение есть зеркало близости и понимания, зеркало жаворонков, вольных птах, но все-таки зеркало, некое таинство двух существ, пляска вокруг сокровищницы, пляска, переходящая в сон и мечту, когда губы еще не отпустили друг друга и сами мы, уже обмякшие, еще не разомкнулись, не расплели перевившихся, точно лианы, рук и ног и все еще ласково проводим рукою по бедру, по шее...

«Tu t'accroches à des histoires, – говорит Кревель. – Tu étreins des mots...» [83]

«Нет, старик, это куда лучше выходит по ту сторону океана, в тех краях, которых ты не знаешь. С некоторых пор я бросил шашни со словами. Я ими пользуюсь, как вы и как все, с той разницей, что, прежде чем одеться в какое-нибудь словечко, я его хорошенько вычищаю щеткой».

Кревель не очень мне верит, и я его понимаю. Между мной и Магой пролегли целые заросли слов, и едва нас с ней разделили несколько часов и несколько улиц, как моя беда стала всего лишь *называться* бедой, а моя любовь лишь *называться* моей любовью... И с каждой минутой я чувствую все меньше, а помню все больше, но что такое это воспоминание, как не язык чувств, как не словарь лиц, и дней, и ароматов, которые возвращаются к нам глаголами и прилагательными, частями речи, и потихоньку, по мере приближения к чистому настоящему, постепенно становятся вещью в себе, и со временем они, эти слова, взамен былых чувств навешивают на нас грусть или дают нам урок, пока само наше существо не становится заменой былого, а лицо, обратив назад широко раскрытые глаза, истинное наше лицо, постепенно бледнеет и стирается, как стираются лица на старых фотографиях, и мы – все до одного – вдруг оборачиваемся Янусом. Все это я говорю Кревелю, но на самом деле я разговаривал с Магой, теперь, когда мы далеко друг от друга. Я говорю ей это не теми словами, которые годились лишь для того, чтобы не понимать друг друга; теперь, когда уже поздно, я начинаю подбирать другие, ее слова, слова, обернутые в то, что ей понятно и что не имеет названия, – в ауру и в упругость, от которых между двумя телами словно проскакивает искра и золотую пылью наполняется комната или стих. А разве не так жили мы все время и все время ранили друг друга, любя? Нет, мы не так жили, она бы хотела жить так, но вот в который раз я установил ложный порядок, который только маскирует хаос, сделал вид, будто погрузился в глубины жизни, а на самом деле лишь едва касаюсь носком ноги поверхности ее пучин. Да, есть метафизические реки, и она плавает в них легко, как ласточка в воздухе, и кружит, словно замороженная, над колокольной, камнем падает вниз и снова стрелой взмывает вверх. Я описываю, определяю эти реки, я желаю их, а она в них плавает. Я их ищу, я их нахожу, смотрю на них с моста, а она в них плавает. И сама того не знает, точь-в-точь как ласточка. А ей и не надо этого знать, как надо мне, она может жить и в хаосе, и ее не сдерживает никакое сознание порядка. Этот беспорядок и есть ее таинственный порядок, та самая богема тела и души, которая настезь открывает перед ней все истинные двери. Ее жизнь представляется беспорядком только мне, закованному в пред-рассудки, которые я презираю и почитаю в одно и то же время. Я бесповоротно обречен на то, чтобы меня прощала Мага, которая вершит надо мной суд, сама того не зная. О,пусти же меня в твой мир, дай мне хоть один день видеть все твоими глазами.

Бесполезно. Обречен на то, чтобы меня прощали. Возвращайся-ка домой и читай Спинозу. Мага не знает, кто такой Спиноза. Мага читает длинный роман Переса Гальдоса, русские и немецкие романы, которые тут же забывает. Ей и в голову не придет, что это она обрекает меня на Спинозу. Неслыханный судия, судия, ибо станешь творить суд своими руками, судия, потому что достаточно тебе взглянуть на меня – и я пред тобой, голый, судия, потому

<sup>82</sup> Название фирмы, выпускающей часы.

<sup>83</sup> Вечно ты со своими историями, все цепляешься за слова... (фр.).

что ты такая нескладеха, такая незадачливая и непутевая, такая дурочка – дальше некуда. В силу всего этого, что я осознаю всей горечью моего знания, всем моим прогнившим и выхолощенным нутром просвещенного, вышколенного университетом человека, – в силу всего этого – судия. Так кинься же вниз, ласточка, с острым, как ножницы, хвостом, которым ты стрижешь небо над Сен-Жермен-де-Пре, и вырви эти глаза, которые смотрят и не видят, ибо приговор мне вынесен и обжалованию не подлежит, и уже грядет голубой эшафот, на который меня вознесут руки женщины, баюкающей ребенка, грядет кара, грядет обманный порядок, в котором я в одиночку буду познавать науку самодовольства, науку самопознания, науку сознания. И, постигнув всю эту массу науки и знания, я буду пронзительно тосковать по чему-то, например, по дождю, который пролился бы здесь, в этом мирке, по дождю, который наконец-то пролился бы, чтобы запахло землей и живым, да, чтобы наконец-то здесь запахло живым.

(—79)

## 22

Мнения были самые разные: что старик поскользнулся, что автомобиль проехал на красный свет, что старик, видно, задумал броситься под машину, что в Париже чем дальше, тем хуже, движение жуткое, что старик не виноват, что старик-то и виноват, что тормоза у машины были не в порядке, что старик был отчаянно неосторожен, что жизнь с каждым днем дорожает и что в Париже слишком много развелось иностранцев, которые не знают правил уличного движения и отбирают работу у французов.

Старик, похоже, не очень пострадал. Он все чему-то улыбался и поглаживал усы. Приехала машина «скорой помощи», старика положили на носилки, а шофер злополучного автомобиля все еще размахивал руками и рассказывал полицейским и зевакам, как было дело.

– Он живет в тридцать втором доме на улице Мадам, – сказал белобрысый парень, успевший до того обменяться несколькими словами с Оливейрой и другими любопытствующими. – Он писатель, я его знаю. Книги пишет.

– Бампер ударил его по ногам, но машина затормозила раньше.

– Его в грудь ударило, – сказал парень. – А старик поскользнулся на куче дерьма.

– По ногам его ударило, – сказал Оливейра.

– Зависит, откуда смотреть, – сказал чудовищно низенький господин.

– В грудь ударило, – сказал парень. – Я видел собственными глазами.

– В таком случае... Не следует ли известить его семью?

– У него нет семьи, он писатель.

– А, – сказал Оливейра.

– У него только кошка и уйма книг. Один раз я относил ему пакет, консержка попросила, и он велел мне войти. Книги у него везде. И такое с ним должно было случиться, писатели, они все рассеянные. А чтоб меня сшибла машина...

Упали первые капли дождя, и толпа свидетелей растворилась в мгновение ока. Подняв воротник куртки так, что на холодном ветру оставался только нос, Оливейра зашагал, сам не зная куда. Он был уверен, что серьезных ушибов старик не получил, но из памяти не шло, какое было кроткое и, пожалуй, даже смущенное лицо У старика, когда его клали на носилки, а рыжий санитар подбадривал его душевными словами: «*Allez, perepere, c'est rien ca!*»<sup>[84]</sup>, которые, должно быть, говорил всем. «Полное отсутствие общения, – подумал Оливейра. – И не потому даже, что мы одиноки, это само собой, и никто тебе не тетка родная. Быть одиноким в конечном счете означает быть одиноким в некоей плоскости, где и другие одиночества могли бы общаться с нами, если это вообще возможно. Однако при любом конфликте, например несчастный случай на улице или объявление войны, происходит резкое пересечение различных плоскостей, и в результате человек, который, возможно, является большой величиной в области санскрита или квантовой физики, становится *perere* для санитара, укладывающего его в машину «скорой помощи». Эдгар По – на носилках, Верлен – в руках заштатного эскулапа, Нерваль и Арто один на один с психиатрами. Что мог знать о Китсе итальянский лекарь, который пускал ему кровь и морил голодом? Если эти, скорее всего, хранят молчание – что наиболее вероятно, – то те, другие, слепо торжествуют, разумеется, безо всякого злого умысла, понятия не имея о том, что этот оперированный, этот туберкулезник, этот страждущий, лежащий раздетым на больничной койке, вдвойне одинок оттого, что вокруг люди двигаются словно бы за стеклом, словно бы в другом времени...».

Он зашел в подъезд и закурил сигарету. Вечерело, девушки стайками выходили из магазинов, им просто необходимо было хотя бы четверть часа посмеяться, покричать, потолкаться

<sup>84</sup> Ну, давай, папаша, это пустяки (фр.).

от избытка здоровья и силы, прежде чем сникнуть над бифштексом и свежим еженедельником. Оливейра пошел дальше. К чему драматизировать, скромная объективность состояла в том, чтобы послушно влиться в абсурд парижской жизни, обычной, заурядной жизни. А коли он вспомнил поэтов, легко согласиться со всеми теми, кто разоблачал одиночество человека в толпе, смехотворную комедию из приветствий, извинений и благодарностей, которыми обмениваются, встречаясь на лестнице или уступая в метро место женщинам, не говоря уж о братании в политике или в спорте. И только биологический и сексуальный оптимизм мог замаскировать – и то лишь у некоторых – их мироощущение острова, болезнь, которая, должно быть, мучила Джона Донна. Контакты, которые возникали при любой деятельности с людьми – по службе, в постели, на спортивной площадке, – были подобны контактам ветвей и листьев разных деревьев, которые, бывает, переплетаются ветвями и ласково касаются друг друга листьями, в то время как стволы их надменно уходят кверху параллельными и несовпадающими путями. «Глубинно мы могли бы быть такими же, каковы на поверхности, – подумал Оливейра, – но для этого пришлось бы жить иначе. А что означает жить иначе? Быть может – жить абсурдно во имя того, чтобы покончить с абсурдом, с таким ожесточением уйти в себя, чтобы этот рывок в себя окончился в объятиях другого. Да, вероятно, любовь, но *otherness* [<sup>85</sup>] длится для нас столько же, сколько длится чувство к женщине, и относится она только к тому, что касается этой женщины. По сути, нет никакой *otherness*, а лишь приятная *togetherness* [<sup>86</sup>]. Правда, это не так уж плохо...» Любовь – обряд онтологизирующий, в самой сути своей заключающий умение отдавать. Ему вдруг пришло в голову то, что, наверное, должно было прийти с самого начала: без умения обладать собой невозможно обладать инаковостью, а кто по-настоящему обладает собой? Кому удалось вернуться к себе самому из абсолютного одиночества, из такого одиночества, когда ты не можешь рассчитывать даже на общение с самим собой, и приходится засовывать себя в кино, или в публичный дом, или в гости к друзьям, или в какую-нибудь всепоглощающую профессию, а то и в брак, чтобы по крайней мере быть одиноким среди других. И вот парадокс: вершина одиночества приводила к верху заурядности, к великой иллюзии, что общество вроде бы чуждо человеку и что человек вообще одиноко идет по жизни, как по залу, где одни зеркала да мертвое эхо. Но такие люди, как он, да и многие другие, которые принимали себя (или же не принимали, но после того, как узнавали себя как следует), впадали в еще худший парадокс: они подступали к самому краю инаковости, но переступить этого края не могли. Подлинная инаковость, строящаяся на деликатных контактах, на чудесной согласованности с миром, не может ограничиваться односторонним порывом, протянутая рука должна встретить другую руку, РУКУ другого инакого.

(—62)

<sup>85</sup> Здесь: инаковость, отдельность каждого (англ.).

<sup>86</sup> Здесь: состояние пребывания вместе (словообразование от *together* – вместе) (англ.).

## 23

Он остановился на углу, намаявшись от дум, уже терявших четкость (почему-то ни на минуту его не покидала мысль о сбитом старике, который теперь, наверное, лежал на больничной койке, а его окружали врачи, практиканты и сестры, любезные и безликие, и спрашивали, должно быть, как его зовут, сколько ему лет, кто он по профессии, уверяли, что ничего страшного, и, вероятно, уже оказали ему помощь – наложили повязки и сделали уколы). Оливейра стоял и смотрел, что творилось вокруг; как и любой перекресток в любом городе, этот перекресток был точной иллюстрацией к его мыслям, так что почти не нужно было напрягаться и думать, достаточно было смотреть. В кафе, укрывшись от холода (всего и дела-то, что войти и выпить стакан вина), несколько каменщиков болтали у стойки с хозяином. Двое студентов что-то читали и писали за столиком, Оливейра видел, как они поднимали глаза, взглядывали на каменщиков, и опять возвращались к книге или тетради, и снова отрывались поглядеть на каменщиков. Как будто каждый в своем стеклянном ящике: посмотрят друг на друга, уйдут в себя, снова посмотрят – только и всего. На втором этаже, над закрытой террасой кафе, женщина возле окна, похоже, шила или кроила. Ее высокая прическа ритмично двигалась в окне. Оливейра представил, что она сейчас думает, представил ножницы у нее в руках, детей, которые с минуты на минуту вернутся из школы, мужа, досаждающего рабочий день в конторе или в банке. Каменщики, студенты, эта женщина, а теперь еще и клошар, появившийся из-за угла, клошар с бутылкой вина, которая выглядывает у него из кармана, и с детской коляской, набитой старыми газетами, пустыми консервными банками, грязными обносками, вон – кукла с оторванной головой, вон – пакет, а из него торчит рыбий хвост. Каменщики, студенты, женщина, клошар, а в маленьком киоске, точно для приговоренных к позорному столбу, – LOTERIE NATIONALE, старуха – из-под серого чепца выбиваются жидкие пряди волос, на руках синие митенки, TIRAGE MERCREDI <sup>[87]</sup> – безнадежно ожидает клиентов, грея ноги у жаровни, так и сидит, закупоренная в этом вертикальном гробу, спокойно сидит, почти околоченная, предлагает удачу, а сама думает поди узнай о чем, крохотные комочки мыслей старчески копошатся: школьная учительница из далекого детства, которая угощала ее конфетами, муж, погибший на Сомме, сын-коммивояжер, комнатка в мансарде, где по вечерам нет воды, супчик, сваренный сразу на три дня, boeuf bourguignon <sup>[88]</sup>, которое стоит дешевле бифштекса, TIRAGE MERCREDI. Каменщики, студенты, клошар, продавщица лотерейных билетов – каждый в своей группке, каждый в своей стеклянной коробочке; но вот старик попадает под машину – и тотчас же все устремляются к месту происшествия, бурно обмениваются впечатлениями, критикуют, соглашаются и не соглашаются, и так – пока снова не пойдет дождь, и тогда каменщики вернутся в бар к стойке, студенты – за свой столик, иксы к иксам, а игреки – к игрекам.

«Только живя нелепо и абсурдно, можно когда-нибудь разорвать этот бесконечный абсурд, – снова подумал Оливейра. – Че, да так я промокну, надо куда-нибудь податься». Он увидел объявления Salle de Géographie <sup>[89]</sup> и укрылся в вестибюле. Лекция об Австралии, неведомом континенте. Собрание выпускников коллежа «Кристо де Монфаве». Фортепианная музыка в исполнении мадам Берт Трепа. Открыта запись на курс лекций о метеоритах. Становитесь за пять месяцев дзюдоистом. Лекция о застройке города Лиона. Концерт фортепианной музыки начинался вот-вот, билеты стоили дешево. Оливейра глянул на небо, пожал плечами и вошел. Он подумал, не пойти ли к Рональду или в мастерскую к Этьену, но решил оставить

<sup>87</sup> Национальная лотерея, розыгрыш по средам (фр.).

<sup>88</sup> Мясо по-бургундски (фр.).

<sup>89</sup> Географической аудитории в Сорбонне (фр.).

это на вечер. Почему-то ему показалось забавным, что пианистку звали Берт Трепа. Забавно было и пойти на концерт с единственной целью – ненадолго убежать от самого себя, еще одно ироническая иллюстрация на тему, которую он пережевывал, бродя по улице. «Мы – ничто», – подумал он, кладя сто двадцать франков к самым зубам старухи, выглядывавшей в окошечко кассы. Ему достался десятый ряд, исключительно по воле зловредной старухи, потому что концерт уже начинался, а желающих на него почти не было, если не считать нескольких стариков с бородой, нескольких – с лысиной и еще двух – с тем и с другим, судя по всему, соседей или домочадцев, двух женщин в возрасте между сорока и сорока пятью годами в старых-престарых пальто и с зонтиками, с которых текло в три ручья; было еще несколько молодых людей, главным образом парочки, которые громко спорили, толкались, хрумкали леденцами и скрипели этими ужасными венскими стульями. В общей сложности человек двадцать. Пахло дождливым днем, в огромном зале было сыро и стыло, а из-за занавеса в глубине доносился неясный говор. Один из стариков закурил трубку, и Оливейра тоже поспешил достать сигарету. Он чувствовал себя неуютно, один ботинок промок, неприятно пахло плесенью и сырой одеждой. Он старательно сопел, раскуривая сигарету, потом загасил ее. За дверями жиденько прозвенел звонок, и молодой парень настойчиво хлопал в ладоши. Старуха капельдинерша в лихо сдвинутом наборе берет и с гримом на лице, который она наверняка не смывала на ночь, задвинула штору на входной двери. И только тогда Оливейра вспомнил, что при входе ему вручили программку. На скверно отпечатанном листке можно было разобрать с некоторым трудом, что мадам Берт Трепа, золотая медаль, исполнит «Три прерывистых движения» Роз Боб (первое исполнение), «Павану в честь генерала Леклерка» Алике Аликса (первое светское исполнение) и «Синтез: Делиб – Сен-Санс» – сочинения Делиба, Сен-Санса и Берт Трепа.

«Чтоб ей было пусто, – подумал Оливейра. – Ну и программа».

Неизвестно каким образом оказавшийся там, из-за рояля появился господин с огромным зобом и белой шевелюрой. Он был весь в черном, а розовой ручкой ласково поглаживал цепочку, украшавшую его модный жилет. Оливейре показалось, что жилет был сильно засален. Раздались сдержанные аплодисменты – это не вытерпела девица в лиловом плаще и очках в золотой оправе. Играя голосом, необыкновенно походившим на клекот попугая, старик с зобом произнес вступительные слова к концерту, из которых публика узнала, что Роз Боб – бывшая ученица мадам Берт Трепа, что «Павана» Алике Аликса является сочинением выдающегося армейского офицера, который укрылся под сим скромным псевдонимом, и что в обоих упомянутых сочинениях использованы наиболее современные средства музыкального письма. Что касается «Синтеза: Делиб – Сен-Санс» (тут старик в восторге закатил глаза), то этот опус представляет собой одну из глубочайших новаций в области современной музыки, и его автор, мадам Трепа, охарактеризовала эту новацию, как «вещий синкретизм». Эта характеристика справедлива в той мере, в какой музыкальный гений Делиба и Сен-Санса тяготеет к космосу, к интерфузии и интерфонии, парализованным засильем индивидуализма, характерным для Запада, приговоренного к тому, чтобы никогда не овладеть высшим и синтетическим творчеством, если бы не гениальная интуиция мадам Трепа. И в самом деле, ее необычайная чувствительность уловила тонкости, которые обычно ускользали от слушателей, и таким образом она взяла на себя благородную, хотя и тяжелую миссию стать медиумическим мостом, на котором смогла осуществиться встреча двух великих сыновей Франции. Следует отметить, что мадам Трепа на ниве музыки, помимо преподавательской деятельности, вскоре отметит серебряную свадьбу с сочинительством. Оратор не рискнул в своем кратком вступительном слове к концерту, начала которого, видимо, оценив сказанное, публика ждала с самым живым нетерпением, углубляться, как следовало бы, в дальнейший анализ музыкального творчества мадам Трепа. Во всяком случае, давая ключ для понимания произведений Роз Боб и мадам Трепа тем, кто будет слушать их впервые, можно было бы вкратце свести их эстетику к антиструктурным конструкциям, Другими словами, речь идет об автономных звуковых клетках, плоде чистого



вдохновения, связанных общим замыслом произведения, однако совершенно свободных от канонов классической, додекафонической и атональной музыки (два последних определения он повторил, делая на них упор). Так, например, «Три прерывистых движения» сочинения Роз Боб, любимой ученицы мадам Трепа, возникли под впечатлением, которое произвел на артистическую душу музыкантши звук изо всех сил захлопнутой двери, и тридцать два аккорда, составляющие первую часть движения, суть эстетический отзвук этого дверного удара; оратор не выдал бы секрета, если бы поведал столь культурной аудитории, что техника композиции, положенная в основу «Синтеза», сродни самым примитивистским и эзотерическим творческим силам. Ему никогда не забыть выпавшей на его долю высокой чести присутствовать при создании одной из фаз синтеза, когда он помогал мадам Трепа применить рабдоманический маятник к партитурам обоих великих мастеров с целью отбора тех пассажей, воздействие которых на маятник подтверждало поразительно оригинальную художественную интуицию мадам Трепа. И хотя к сказанному еще можно много чего добавить, оратор считает своим долгом удалиться, не преминув прежде поприветствовать мадам Трепа, являющуюся одним из маяков французского духа и возвышенным примером гения, не понятого широкой публикой.

Зоб затрясся, и старик, захлебнувшись эмоциями и кашлем, исчез за софитами. Двадцать пар рук разразились жидкими хлопками, одна за другой вспыхнули несколько спичек, и Оливейра, вытянувшись, насколько это было возможно, на стуле, почувствовал себя лучше. Старик, попавшему под машину, тоже, наверное, стало лучше на больничной койке, должно быть, он впал в полудрему, так всегда бывает после шока, счастливое междуцарствие, когда человек перестает распоряжаться собой и койка – не койка, а ковчег, а сам ты словно в неоплаченном отпуске, как-никак, а порвалась привычная повседневность. «Похоже, я готов навестить его, – подумал Оливейра. – Да только разрушу его необитаемый остров, загажу чистый песок своими следами! Че, никак, ты становишься деликатным».

Аплодисменты заставили его открыть глаза и стать свидетелем того, как мадам Трепа благодарила публику, с трудом кланяясь. Он еще не разглядел ее лицо, но остолбенел, увидев ее ботинки, такие мужские, что никакая юбка не могла этого скрыть. Тупоносые, без каблука, зашнурованные женскими шнурками-ленточками, что, однако, ничуть не меняло дела. А над ними громоздилось нечто жесткое, широкое и толстое, втиснутое в негнувшийся корсет. Но Берт Трепа не была толстой, скорее ее можно было назвать громоздкой. Должно быть, она страдала радикулитом или люмбаго, отчего могла двигаться только вся целиком, и теперь она стояла лицом к публике, с превеликим трудом переломившись в поклоне, а потом повернулась боком, втиснувшись в пространство между табуретом и роялем и, перегнувшись точно под прямым углом, воздвигла себя на табурет. Оттуда артистка, круто вывернув голову, снова кивнула, хотя никто ей уже не аплодировал. «Как будто кто-то сверху дергает ее за ниточки», – подумал Оливейра. Ему нравились марионетки и автоматы, и он ожидал любых чудес от вешего синкретизма. Берт Трепа еще раз взглянула на публику, ее круглое, словно запорошенное мукой лицо, казалось, вдруг вобрало в себя все лунные грехи, а ядовито-красный рот-вишня растянулся египетским челном. И вот она уже снова в профиль, крохотный нос, точно клюв попугая, уставился в клавиши, а руки легли на клавиатуру – от *до* до *си* — двумя сумочками из мятой замши. Зазвучали тридцать два аккорда первого из трех прерывистых движений. Между первым и вторым аккордом – пять секунд, между вторым и третьим – пятнадцать. На пятнадцатом аккорде Роз Боб указала паузу в двадцать пять секунд. Оливейре, на первых порах оценившему, как ловко использовала Роз Боб веберновские паузы, назойливое повторение быстро надоело. Между седьмым и восьмым аккордом в зале стали кашлять, между двенадцатым и тринадцатым кто-то энергично чиркнул спичкой, между четырнадцатым и пятнадцатым вполне ясно раздалось восклицание: «Ah, merde alors!»<sup>90</sup> – оно вырвалось у молоденькой

<sup>90</sup> Здесь: ну и дерьмо! (фр.)

блондинки. После двадцатого аккорда одна из самых древних дам, образец прокисшей старой девы, схватилась за зонтик и открыла рот, собираясь что-то сказать, но двадцать первый аккорд милосердно придавил ее порыв. Оливейра, забавляясь, глядел на Берт Трепа и подозревал, что пианистка, как говорится, краем глаза наблюдает за залом. Краешек этого глаза, едва различимого над маленьким крючковатым носом Берт Трепа, поблескивал блеклой голубизной, и Оливейре пришло в голову, что скорее всего незадачливая пианистка ведет счет проданным местам. На двадцать третьем аккорде господин с круглой лысиной возмущенно выпрямился, засопел, фыркнул и пошел к выходу так, что каблуки его гулко печатали шаг все восемь секунд, отведенных композиторшей на очередную паузу. После двадцать четвертого аккорда паузы начали сокращаться, а с двадцать восьмого до тридцать второго аккорды проследовали в ритме похоронного марша, не отступившего при этом от общего замысла. Берт Трепа сняла башмаки с педалей, левую руку положила на колени и принялась за второе движение. Это движение состояло всего из четырех тактов, а каждый такт – из трех нот одинаковой длительности. Третье движение заключалось главным образом в хроматическом низвержении из крайних регистров к центру клавиатуры и обратно, и все это – в убранстве бесконечных трелей и триолей. В самый неожиданный момент пианистка оборвала пассажи, резко выпрямилась и несколько раз кивнула почти вызывающе, однако в этом вызове Оливейре почудилась неуверенность и даже страх. Какая-то парочка бешено аплодировала, и Оливейра вдруг обнаружил, что он почему-то тоже хлопает, и, поняв это, перестал. Берт Трепа мгновенно снова оказалась в профиль к публике и безразлично провела пальцем по клавиатуре, ожидая, пока в зале станет тихо. А затем приступила к «Паване в честь генерала Леклерка».

В следующие две или три минуты Оливейра не без труда старался уследить, с одной стороны, за необычайным винегретом, который Берт Трепа вываливала на зал, не жалея сил, и с другой – за тем, как старые и молодые открыто или потихоньку удирали с концерта. В «Паване», этой мешанине из Листа и Рахманинова, без устали повторялись две или три темы, терявшиеся в бесконечных вариациях, в шумных и бравурных фразах, довольно сильно смазанных исполнительницей, торжественных, точно катафалк на лафете, кусков, которые вдруг выливались в шумливые, как фейерверк, пассажи – им таинственный Алике предавался с особым наслаждением. Раза два у Оливейры было такое ощущение, что у пианистки, того и гляди, рассыплется высокая прическа а-ля Саламбо, но кто знает, какое количество шпилек и гребней помогало ей держаться среди грохота и яростной дрожи «Паваны». Но вот пошла оргия из арпеджио, предвещавшая финал, прозвучали все три темы, одна из них – цельнотянутая из «Дон Жуана» Штрауса, и Берт Трепа разразилась ливнем аккордов, все более шумных, которые затем заглушила истерика первой темы, и наконец все разрешилось двумя аккордами в нижней октаве, причем во втором аккорде правая рука заметно сфальшивила, но такое с каждым может случиться, и Оливейра, от души забавляясь, громко захлопал.

Пианистка снова, как на шарнирах, повернулась лицом к залу и поклонилась. Судя по всему, она не переставала вести счет публике и теперь могла воочию убедиться, что в зале осталось не более восьми или девяти человек. Сохраняя достоинство, Берт Трепа ушла за левую кулису, и капельдинерша, задвинув занавес, пошла предлагать конфеты усидевшим слушателям.

Конечно, пора было уходить, но в самой обстановке концерта было что-то, притягивающее Оливейру. Все-таки бедняжка Трепа хотела представить свои произведения первым слушателям, это само по себе было достоинством в мире парадного полонеза, лунной сонаты и танца огня. Было что-то трогательное в этом лице, как у куклы с тряпичной головой, в этой бархатной черепахе, в этой необъемной дурище, оказавшейся в протухшем мире чайничков с отбитыми носиками, старух, которые слыхивали еще игру Рислера, в кругу любителей искусства и поэзии, которые собирались в залах с истлевшими обоями и месячным оборотом в сорок тысяч франков, куда к концу месяца умоляют друзей и близких прийти хоть разочек во имя

на-сто-яще-го искусства в подлинном стиле Академии Раймонда Дункана; и нетрудно было вообразить лица Алике Аликса и Роз Боб, и как они подсчитывали, во что обойдется аренда зала для концерта, программку которого на добровольных началах отпечатал кто-нибудь из учеников, и как составляли не оправдавший надежд список приглашенных, и какое отчаяние было там, за кулисами, когда обнаружилось, что зал – пуст, а выходить надо было все равно, ей, лауреату золотой медали, выходить надо было все равно. Ни дать ни взять – глава из Селина, и Оливейра почувствовал, что не способен больше думать ни о чем, кроме как о всеобъемлющем ощущении краха и бесполезности этой едва тлеющей артистической деятельности, рассчитанной на тех немногих, кто точно так же потерпел крах и никому не нужен. «И конечно, именно я ткнулся носом в этот пропылившийся веер, – злился Оливейра. – Сперва старик под машиной, а теперь эта Трепа. А уж о собачьей погодке на дворе и о том, что со мной творится, говорить нечего. Особенно о том, что со мной творится».

В зале оставалось всего четыре человека, и он решил, что, пожалуй, следует пересесть в первый ряд, чтобы исполнительнице было не так одиноко. Подобное проявление солидарности показалось ему смешным, но он все равно пересел вперед и в ожидании начала закурил. Одна из оставшихся дам почему-то решила уйти в тот самый момент, когда на сцену вновь вышла Берт Трепа и, прежде чем тяжело расколоться в поклоне перед почти пустым партером, пронзила взглядом злосчастную даму. Оливейра решил, что уходящая вполне заслужила хорошего пинка под зад. Он вдруг понял, что все его реакции основываются на совершенно четкой симпатии к Берт Трепа, несмотря даже на «Павану» сочинения Роз Боб. «Давно со мной такого не бывало, – подумал он. – Неужели с годами начинаю смягчать?» Столько метафизических рек лицезреть – и неожиданно с изумлением обнаружить, что хочется навестить больного старика или подбодрить аплодисментами затянутую в корсет безумицу. Странно. Наверное, это от холода, оттого, что ноги промокли.

Синтез Делиба и Сен-Санса длился уже три минуты, когда парочка, составляющая главную мощь остававшейся публики, поднялась и, не таясь, вышла. И снова Оливейре показалось, что он поймал метнувшийся в зал взгляд Берта Трепа; совсем согнувшись над роялем, она играла все с большим и большим напряжением, будто ей стягивало руки, и, пользуясь любой паузой, косила на партер, где Оливейра и еще один кроткий господин слушали, всем своим видом выказывая собранность и внимание. Вещий синкретизм не замедлил раскрыть свою тайну даже такому невежде, как Оливейра; за четырьмя тактами из «Le Rouet d'Omphale»<sup>[91]</sup> последовали четыре такта из «Les Filles de Cadix»<sup>[92]</sup>, затем левая рука провела лейтмотив «Mon coeur s'ouvre à ta voix»<sup>[93]</sup>, правая судорожно отбила тему колокольчиков из «Лакме», и потом обе вместе прошлись по «Danse Macabre»<sup>[94]</sup> и «Коппелии», остальные же темы, если верить программке, взятые из «Hymne à Victor Hugo»<sup>[95]</sup>, «Jean de Nivelles»<sup>[96]</sup> и «Sur les bords du Nil»<sup>[97]</sup>, живописно переплетались с другими, более известными, о чем этот синкретический винегрет вещал как нельзя более доходчиво, и потому, когда кроткий господин начал потихоньку посмеиваться, прикрывая, как положено воспитанному человеку, рот перчаткой, Оливейре пришлось согласиться, что он имел на это полное право – нельзя было требовать, чтобы он замолчал, и, должно быть, Берт Трепа подозревала то же самое, ибо все чаще и чаще брала фальшивые ноты и так, будто у нее сводило руки, то и дело встряхивала ими и заводила кверху локти, точно курица, садящаяся на яйца. «Mon coeur s'ouvre à ta voix», снова «Où va la

<sup>91</sup> «Прялки Омфалы» (фр.).

<sup>92</sup> «Девушки из Кадиса» (фр.).

<sup>93</sup> Раскрылось сердце тебе навстречу (фр.).

<sup>94</sup> «Пляске смерти» (фр.).

<sup>95</sup> «Гимн Виктору Гюго» (фр.).

<sup>96</sup> «Жана де Нивеля» (фр.).

<sup>97</sup> «На берегах Нила» (фр.).

jeune hindoue?»<sup>[98]</sup>, затем два синкретических аккорда, куцее арпеджио, «Les Filles de Cadix», тра-ля-ля-ля, как всхлипывание, несколько интервалов в духе (ну и сюрприз!) Пьера Булеза, и кроткий господин, застонав, выбежал из зала, прижимая ко рту перчатки, как раз в тот самый момент, когда Берта Трепа опускала руки, уставившись в клавиатуру, и потянулась длинная секунда, секунда без конца и края, отчаянно пустая для обоих – для Оливейры и для Берты Трепа, оставшихся в пустом зале один на один.

– Bravo, – сказал Оливейра, понимая, что аплодисменты были бы неуместны. – Bravo, мадам.

Не поднимаясь, Берта Трепа развернулась на табурете и уперлась локтем в *ля* первой октавы. Они посмотрели друг на друга. Оливейра встал и подошел к сцене.

– Очень интересно, – сказал он. – Поверьте, мадам, я слушал вашу игру с подлинным интересом.

Ну и сукин сын.

Берта Трепа смотрела в пустой зал. Одно веко у нее подергивалось. Казалось, она что-то хотела спросить, чего-то ждала. Оливейра почувствовал, что должен говорить.

– Вам, как никому, должно быть хорошо известно, что снобизм мешает публике понять настоящего артиста. Я знаю, что, по сути, вы играли для самой себя.

– Для самой себя, – повторила Берта Трепа голосом попугая, удивительно похожим на тот, что был у господина, открывавшего концерт.

– А для кого же еще? – продолжал Оливейра, взбираясь на сцену так ловко, словно проделывал это во сне. – Подлинный художник разговаривает только со звездами, как сказал Ницше.

– Простите, вы кто? – вдруг заметила его Берта Трепа.

– О, видите ли, мне интересно, как проявляется... – Он без конца мог низать и низать слова – дело обычное. Надо было просто побыть с ней еще немного. Он не мог объяснить почему, но чувствовал: надо.

Берта Трепа слушала, все еще витая где-то. Потом с трудом выпрямилась, оглядела зал, софиты.

– Да, – сказала она. – Уже поздно, пора домой. – Она сказала это себе, и сказала так, будто речь шла о наказании или о чем-то в этом роде.

– Вы позволите мне удовольствие побыть с вами еще минутку? – сказал Оливейра, поклонившись. – Разумеется, если никто не ждет вас в гардеробе или у выхода.

– Наверняка никто. Валентин ушел сразу после вступительного слова. Вам понравилось вступительное слово?

– Интересное, – сказал Оливейра, все более уверяясь в том, что он спит наяву и что ему хочется спать и дальше.

– Валентин умеет и лучше, – сказала Берта Трепа. – И, по-моему, мерзко с его стороны... да, мерзко... уйти и бросить меня, как ненужную тряпку.

– Он с таким восхищением говорил о вас и о вашем творчестве.

– За пятьсот франков он будет с восхищением говорить даже о тухлой рыбе. Пятьсот франков! – повторила Берта Трепа, уходя в свои думы.

«Я выгляжу дураком», – подумал Оливейра. Попрощайся он сейчас и спустись в партер, пианистка, наверное, и не вспомнит о его предложении. Но она уже опять смотрела на него, и Оливейра увидел, что Берта Трепа плачет.

– Валентин – мерзавец. Да все они... больше двухсот человек было, вы сами видели, больше двухсот. Для первого исполнения это необычайно много, не так ли? И все билеты были платные, не думайте, мы не рассылали бесплатных. Больше двухсот человек, а остались вы один, Валентин ушел, я...

---

<sup>98</sup> Куда идет индуска молодая? (фр.).

– Бывает, что пустой зал означает подлинный триумф, – проговорил Оливейра, как это ни дико.

– Почему они все-таки ушли? Вы не заметили, они смеялись? Более двухсот человек, говорю вам, и были среди них знаменитости, я уверена, что видела в зале мадам де Рош, доктора Лакура, Монтелье, скрипача, профессора, получившего недавно Гран-при... Я думаю, что «Павана» им не очень понравилась, потому-то и ушли, как вы считаете? Ведь они ушли еще до моего «Синтеза», это точно, я сама видела.

– Разумеется, – сказал Оливейра. – Надо заметить, что «Павана»...

– Никакая это не павана, – сказала Берт Трепа. – А просто, дерьмо. А все Валентин виноват, меня предупреждали, что Валентин спит с Алике Аликсом. А почему, скажите, молодой человек, я должна расплачиваться за педераста? Это я-то, лауреат золотой медали, я покажу вам, что писали обо мне критики в газетах, настоящий триумф, в Гренобле, в Пу...

Слезы текли по шее, теряясь в мятых кружевах и пепельных складках кожи. Она взяла Оливейру под руку, ее трясло. Того и гляди, начнется истерика.

– Может, возьмем ваше пальто и выйдем на улицу? – поспешил предложить Оливейра. – На воздухе вам станет лучше, мы бы зашли куда-нибудь выпить по глоточку, для меня это было бы подлинной...

– Выпить по глоточку, – повторила Берт Трепа. – Лауреат золотой медали.

– Как вам будет угодно, – неосторожно сказал Оливейра. И сделал движение, чтобы освободиться, но пианистка сжала его руку и придвинулась еще ближе. Оливейра почувствовал дух трудового концертного пота, перемешанный с запахом нафталина и ладана, а еще – мочи и дешевого лосьона. «Сперва Рокаматур, а теперь – Берт Трепа, нарочно не придумаешь». «Золотая медаль», – повторяла пианистка, глотая слезы. Тут она всхлипнула так бурно, словно взяла в воздухе мощный аккорд. «Ну вот, так всегда...» – наконец понял Оливейра, тщетно пытаясь уйти от личных ощущений и нырнуть в какую-нибудь, разумеется метафизическую, реку. Не сопротивляясь, Берт Трепа позволила увести себя к софитам, где поджидала капелдинерша, держа в руках фонарик и шляпу с перьями.

– Мадам плохо себя чувствует?

– Это от волнения, – сказал Оливейра. – Ей уже лучше. Где ее пальто?

Меж каких-то досок и колченогих столиков, подле арфы, у вешалки стоял стул, и на нем лежал зеленый плащ. Оливейра помог Берт Трепа одеться, она больше не плакала, только совсем свесила голову на грудь. Через низенькую дверцу они вышли в темный коридор, а из него – на ночной бульвар. Моросил дождь.

– Такси, пожалуй, не достанешь, – сказал Оливейра, у которого было франков триста, не больше. – Вы далеко живете?

– Нет, рядом с Пантеоном, и я бы предпочла пройти пешком.

– Да, так, наверное, лучше.

Берт Трепа двигалась медленно, и голова у нее при каждом шаге моталась из стороны в сторону. В плаще с капюшоном она похожа была не то на партизана, не то на короля Убю. Оливейра поднял воротник и с головой утонул в куртке. Было свежо, Оливейра почувствовал, что хочет есть.

– Вы так любезны, – сказала артистка. – Не следовало вам беспокоиться. Что вы скажете о моем «Синтезе»?

– Мадам, я – любитель, не более. Для меня музыка, как бы выразиться...

– Не понравился, – сказала Берт Трепа.

– С первого раза трудно...

– Мы с Валентином работали над ним несколько месяцев. Круглые сутки все искали, как соединить этих двух гениев.

– Но вы же не станете возражать, что Делиб...

– Гений, – повторила Берт Трепа. – Так однажды при мне назвал его сам Эрик Сати. И сколько бы доктор Лакур ни говорил, что Сати просто хотел мне... в общем, ради красного словца. Вы-то знаете, какой он был, этот старик... Но я умею понимать, что хотят сказать мужчины, молодой человек, и я знаю, что Сати был убежден в этом, убежден. Вы из какой страны, юноша?

– Из Аргентины, мадам, и, кстати сказать, я уже далеко не юноша.

– Ах, из Аргентины. Пампа... А как вам кажется, там могли бы заинтересоваться моими произведениями?

– Я в этом уверен, мадам.

– А вы не могли бы похлопотать, чтобы ваш посол принял меня? Если уж Тибо ездил в Аргентину и в Монтевидео, то почему бы не поехать мне, исполняющей собственные произведения? Вы, конечно, обратили внимание, это – главное: я исполняю музыку своего сочинения. И почти всегда – первое исполнение.

– Вы много сочиняете? – спросил Оливейра, и ему показалось, что его вот-вот стошнит.

– Это мой восемьдесят третий опус... нет... ну-ка... сколько же... Только сейчас вспомнила, что мне надо было перед уходом поговорить с мадам Ноле... Уладить денежные дела, как положено. Двести человек, это значит... – Она забормотала что-то, и Оливейра подумал, не милосерднее ли сказать ей чистую правду, все, как есть, но ведь она знала ее, эту правду, конечно, знала. – Это скандал, – сказала Берт Трепа. – Два года назад я играла в этом же самом зале, Пуленк обещал прийти... Представляете? Сам Пуленк. Я в тот вечер чувствовала такое вдохновение, но, к сожалению, какие-то дела в последнюю минуту помешали ему... вы же знаете, какие они, эти модные музыканты... А сегодня Ноле собрала вдвое меньше публики, – добавила она, разъярясь. – Ровно вдвое. Двести человек я насчитала, значит, вдвое...

– Мадам, – сказал Оливейра, мягко беря ее под локоть, чтобы вывести на улицу Сен. – В зале было темно, возможно, вы ошиблись.

– О нет, – сказала Берт Трепа. – Уверена, что не ошиблась, но вы меня сбили со счета. Позвольте-ка, сколько же получается... – И она снова старательно зашептала, шевеля губами и загибая пальцы, совершенно не замечая, куда ее вел Оливейра, а может быть, даже и самого его присутствия. Время от времени она что-то говорила вслух, но, верно, говорила она сама с собой, в Париже полно людей, которые на улице вслух разговаривают сами с собой, с Оливейрой тоже такое случалось, и для него это не диковина, а диковина то, что он, как дурак, идет по улице с этой старухой, провожает эту вылинявшую куклу, этот несчастный вздутый шар, в котором глупость и безумие отплясывали настоящую павану ночи. «До чего противная, так бы и спихнул ее с лестницы, да еще ногой наподдал в лицо и раздавил бы подошвой, как поганую винчуку, пусть сыпется, как рояль с десятого этажа. Настоящее милосердие – вызволить ее из этого жалкого положения, чтобы не страдала она, точно последний пес, от иллюзий, которыми сама себя и опутывает и в которые не верит, они нужны ей, чтобы не замечать воду в башмаках, свой пустой дом и развратного старикашку с седой головой. Она мне отвратительна, на первом же углу рву когти, да она и не заметит ничего. Ну и денек, боже мой, ну и денек».

Взять бы ему да броситься по улице Лобино, словно от своры собак, старуха и одна найдет дорогу домой. Оливейра оглянулся и чуть подвигал рукою, словно руке было тяжело, словно его беспокоило то, что потихоньку впивалось в него и повисало на нем. Это что-то было рукой Берт Трепа, и она тут же решительно напомнила о себе, всем своим телом обрушиваясь на руку Оливейры, который косил в сторону улицы Лобино и одновременно помогал ей перейти перекресток и шествовать дальше по улице Турнон.

– Я уверена, он затопил печку, – сказала Берт Трепа. – Нельзя сказать, что сегодня очень холодно, однако же огонь – друг артиста, вы согласны? Вы, надеюсь, зайдете выпить рюмочку с Валентином и со мной?

– О нет, мадам, – сказал Оливейра. – Ни в коем случае, для меня и так огромная честь проводить вас до дому. Кроме того...

– Вы слишком скромны, юноша. Это оттого, что вы молоды, согласны? По всему видно, как вы молоды, вот даже рука... – Ее пальцы вцепились в куртку. – А я кажусь старше, чем есть, сами знаете, жизнь у артиста...

– Это не так, – сказал Оливейра. – А мне – уже за сорок, так что вы мне льстите.

Слова у него вылетали сами, а что оставалось делать, все складывалось – дальше некуда. Берт Трепа, повиснув у него на руке, рассуждала о старых добрых временах, то и дело замолкая на половине фразы, – по-видимому, снова погружаясь в подсчеты. Иногда она украдкой засовывала палец в нос, искоса глянув на Оливейру, но перед этим делала вид, будто у нее зачесалась ладонь, срывала перчатку и сперва чесала ладонь, деликатно высвободив ее из руки Оливейры, затем профессиональным движением пианистки поднимала руку к лицу и на секунду запускала палец в нос. Оливейра делал вид, будто смотрит в другую сторону, а когда поворачивал голову, Берт Трепа уже снова была в перчатках и опять висела у него на руке. И они шествовали дальше под дождем, разговаривая о всякой всячине. Проходя мимо Люксембургского сада, они коснулись вопроса о том, что жизнь в Париже с каждым днем все труднее, что конкуренция немилосердная, особенно со стороны молодежи, столь же дерзкой, сколь и неумелой, а публика безнадежно заражена снобизмом, не забыли при этом обсудить и сколько стоит бифштекс на Сен-Жермен или на улице Буси – единственное место, где бифштекс приличный и цены божеские. Раза два или три Берт Трепа вежливо осведомилась, какова профессия Оливейры, что питает его надежды и главное – какие неудачи он терпел, однако он не успевал ответить – мысли ее снова возвращались к необъяснимому исчезновению Валентина и к тому, что ошибкой было исполнять «Павану» Алике Аликса, она пошла на это исключительно ради Валентина, но больше этой ошибки не повторит. «Педераст, – бормотала Берт Трепа, и Оливейра чувствовал, как пальцы впивались в рукав его куртки. – Из-за этой свиньи мне – это мне-то! – пришлось играть беспардонное дерьмо, в то время как мои собственные произведения ждут не дождутся исполнения...» И она останавливалась под дождем, защищенная плащом (а Оливейре вода затекала за воротник, и воротник – не то из кролика, не то из крысы – вонял, как клетка в зоопарке, всякий раз – чуть дождь – такая история, ничего не поделаешь), и смотрела, ожидая ответа. Оливейра вежливо улыбался ей и потихоньку тащил дальше, к улице Медичи.

– Вы чересчур скромны и слишком сдержанны, – говорила Берт Трепа. – Ну-ка, расскажите о себе. Вы наверняка поэт, правда? Вот и Валентин, когда мы были молоды... «Ода закатам» такой успех имела в «Меркюр де Франс»... Тибоду открытку прислал, помню как сейчас. Валентин лежал на кровати и плакал, он всегда плакать ложится на кровать лицом вниз, так трогательно.

Оливейра пытался представить себе Валентина, плачущего на постели лицом вниз, но, как ни старался, ему виделся маленький, красненький, точно краб, и вовсе не Валентин, а Рокамадур: он лежал в кроватке лицом вниз и плакал, а Мага хотела ввести ему свечу; он не давался, извивался и вертелся, и его попочка все время выскальзывала из неловких рук Маги. И старику, попавшему под машину, тоже, наверное, в больнице поставили какие-нибудь свечи, просто невероятно, до чего они в моде, надо бы осмыслить с философской точки зрения удивительный феномен нынешнего года: откуда вдруг эта неожиданная потребность нашего второго зева, который уже не довольствуется тем, что испражняется, но упражняется в глотании ароматизированных, аэродинамических розово-зелено-белых снарядиков. Но Берт Трепа не давала сосредоточиться и снова расспрашивала Оливейру о жизни, хватая его за руку то одной, то сразу двумя руками, и оборачивалась на него так, словно была совсем юной девушкой, так что он от неожиданности даже вздрагивал. Значит, он – аргентинец, живет в Париже и хочет здесь... Ну-ка, чего же он хочет здесь? С места в карьер довольно трудно объяснить. В общем, он приехал сюда за...

– За красотой, за восторгом и вдохновением, за золотой ветвью, – сказала Берт Трепа. – Можете не говорить, я прекрасно понимаю. И я приехала в Париж из По в свое время, и тоже – за золотой ветвью. Но я была слабая, юная, я была... А как вас зовут?

– Оливейра, – сказал Оливейра.

– Оливейра... Des olives [<sup>99</sup>], Средиземное море... Я тоже – дитя Юга, молодой человек, мы с вами оба – приверженцы Пана. Не то что Валентин, он из Лилля. Эти северяне – холодные, как рыбы, их покровитель – Меркурий. Вы верите в «Великое Делание»? Я имею в виду Фульканелли, вы меня понимаете... Только не возражайте, я прекрасно знаю сама, что он – посвященный. Возможно, он еще не достиг подлинных вершин, а я... Возьмите, к примеру, «Синтез». Валентин сказал чистую правду: радиоэстезия позволила мне обнаружить в этих двух художниках родственные души, и, думаю, в «Синтезе» это выявлено. Или нет?

– О, конечно, да.

– Вы обладаете сильной *кармой*, это сразу видно... – Рука вцепилась в Оливейру из всех сил, артистка погружалась в размышления, а для этого необходимо было как следует опереться на Оливейру, который почти перестал сопротивляться и хотел одного – заставить ее перейти через площадь и пойти по улице Суффло. «Если Этьен или Вонг увидят – шуму будет...» – думал Оливейра. А почему его должно волновать, что подумает Этьен или Вонг, разве после того, как метафизические реки перемешались с грязными пеленками, будущее значило для него хоть что-нибудь? «Такое ощущение, будто я вовсе не в Париже, однако же меня глупо трогает все, что со мной происходит, меня раздражает несчастная старуха, то и дело впадающая в тоску, и эта прогулка под дождем, а уже о концерте и говорить нечего. Я хуже распоследней тряпки, хуже самых грязных пеленок и, по сути дела, не имею ничего общего с самим собой». Что еще мог он думать, он, влачившийся в ночи под дождем, прикованный к Берт Трепа, что еще мог он чувствовать: словно последний огонь гас в огромном доме, где одно за другим уже погасли все окна, и казалось, что он – вовсе не он и настоящий он ждет его где-то, а тот, что бредет по Латинскому кварталу, таща за собой старую истеричку, а может даже и нимфоманку, всего лишь Doppelgänger [<sup>100</sup>], в то время как тот, другой, другой... «Остался в квартале Альмагро? Или утонул во время путешествия, потерялся в постелях проституток, в круговерти Великого Делания, в достославном необходимом беспорядке? Как утешительно это звучит, как удобно верить, что все еще поправимо, хотя верится с трудом, но тот, кого вешают, наверное, ни на минуту не перестает верить, что в последний миг что-то произойдет – землетрясение, или веревка оборвется дважды и его вынуждены будут помиловать, а то и сам губернатор вступится по телефону, или случится бунт и принесет ему избавление. А старуха-то, похоже, еще немного – и начнет меня за ширинку хватать».

Берт Трепа с головой ушла в воспоминания, в поучения, с восторгом принялась рассказывать, как встретила на Лионском вокзале Жермен Тайфер и та ей сказала, что «Прелюдия к оранжевым ромбам» – чрезвычайно интересная вещь и что она поговорит с Маргерит Лонг о том, чтобы включить ее в свой концерт.

– Вот был бы успех, сеньор Оливейра, подлинное посвящение. Но вы знаете, каковы импрессарио, бессовестные тираны, даже самые лучшие исполнители – их жертвы. Валентин считает, что какой-нибудь молодой пианист, не подпавший еще под их власть, мог бы... Впрочем, и молодые, и старики – одна шайка.

– А может, вы сами как-нибудь, на другом концерте...

– Я не хочу больше выступать, – сказала Берт Трепа, отворачивая лицо, хотя Оливейра и сам старался не смотреть на нее. – Позор, что я все еще вынуждена выходить на сцену, представлять слушателям свою музыку, мне пора стать музой, вы меня понимаете, музой, которая

<sup>99</sup> Оливы (фр.).

<sup>100</sup> Двойник (нем.).



вдохновляет исполнителей, они сами должны приходить ко мне, просить позволения исполнять мои вещи, умолять меня – вот именно, умолять. А я бы соглашалась, потому что считаю: мои произведения – это искра, которой надлежит воспламенить чувства публики и здесь, и в Соединенных Штатах, и в Венгрии... Да, я бы соглашалась, но прежде пусть они добиваются этой чести – исполнять мою музыку.

Она изо всех сил сжала руку Оливейры, который почему-то решил идти по улице Сен-Жак и теперь тащил по ней пианистку. Холодный ветер бил в лицо, дождь залеплял глаза и рот, но для Берт Трепа, похоже, любая погода была нипочем, и, повиснув на руке у Оливейры, она продолжала бормотать, время от времени икая и разражаясь не то презрительным, не то насмешливым хохотом. Да нет же, она живет вовсе не на улице Сен-Жак. Какая разница, где она живет. Она готова ходить вот так всю ночь, подумать только, что более двухсот человек пришло на первое исполнение «Синтеза».

– Валентин станет беспокоиться, что вас долго нет, – сказал Оливейра, силясь придумать, каким образом вырулить на правильный путь этот затянутый в корсет шар, этого ежа, спокойно катившего по улице навстречу ветру и дождю. Из длинного прерывающегося монолога как будто следовало, что Берт Трепа живет на улице Эстрапад. Совсем уже запутавшийся Оливейра протер глаза от дождя и попытался сориентироваться, как какой-нибудь герой Конрада, застывший на носу корабля. Ему вдруг стало ужасно смешно, в пустом желудке сосало, мышцы сводило судорогой, рассказать Вонгу – ни за что не поверит. Смеяться хотелось не над Берт Трепа, которая продолжала подсчитывать гонорары, полученные в Монпелье и в По, то и дело поминая золотую медаль, и не над собственной глупостью, которую совершил, предложив проводить ее домой. Он даже не очень хорошо понимал, что вызывало смех – что-то случившееся еще до всего этого, гораздо раньше, и даже не концерт, хотя, наверное, смехотворнее этого концерта ничего на свете не было. Однако его смех был радостью, физической формой выражения радости. Как ни трудно в это поверить – радостью. Все равно, как если бы он рассмеялся от удовольствия, от простого, увлекающего и необъяснимого удовольствия. «Я схожу с ума, – подумал он. – Догулялся с сумасшедшей, заразился, наверное». Не было ни малейших оснований испытывать радость: вода хлюпала в ботинках, заливалась за воротник. Берт Трепа все тяжелее повисала на нем, неожиданно сотрясаясь всем телом, точно в рыдании; каждый раз, вспоминая Валентина, она содрогалась и всхлипывала, верно, это стало условным рефлексом – все это не могло вызвать никакой радости ни у кого, даже у сумасшедшего. А Оливейре хотелось рассмеяться и хохотать громко и открыто, но он шел, осторожно поддерживая Берт Трепа, вел ее потихоньку к улице Эстрапад, к дому номер четыре; невозможно было представить это и тем более – понять, но все было именно так: главное – довести Берт Трепа до дома четыре на улице Эстрапад, по возможности уберегая ее от луж, и провести сухой под водопадами, которые низвергались с крыши на углу улицы Клотильд. Предложение пропустить рюмочку у нее дома (вместе с Валентином) уже казалось Оливейре вовсе не глупым, все равно придется вволакивать артистку на пятый или шестой этаж, входить в квартиру, где Валентин, вполне возможно, и не разжег еще огня (но там, наверное, ждала их чудесная саламандра, бутылка коньяку, и можно было сбросить ботинки и вытянуть ноги поближе к огню и говорить об искусстве, о золотой медали). Глядишь, как-нибудь вечером он снова сможет заглянуть к Берт Трепа и к Валентину, на этот раз со своей бутылкой вина, посидеть с ними, подбодрить стариков. Это почти то же самое, что навестить старика в больнице, сходить куда-нибудь, куда раньше и в мыслях не было пойти, – в больницу или на улицу Эстрапад. Раньше, до того, как возникло это чувство радости и стало ужасно сводить желудок, до того, как рука, словно проросшая под кожей, начала эту сладкую пытку (надо спросить Вонга про руку, словно проросшую под кожей).

– Дом четыре, верно?

– Да, вон тот, с балконом, – сказала Берт Трепа. – Постройка восемнадцатого века. Валентин говорит, что Нинон де Ланкло жила на четвертом этаже. Он столько врет. Нинон де Ланкло. О да, Валентин врет, как дышит. Дождь почти перестал, вам не кажется?

– Немного унялся, – согласился Оливейра. – Давайте перейдем на ту сторону, если не возражаете.

– Соседи, – сказала Берт Трепа, глянув в сторону кафе на углу улицы. – Ну конечно, старуха с восьмого этажа... Вы себе не представляете, сколько она пьет. Видите ее, за крайним столиком? Смотрит на нас, а завтра пойдут разговоры, вот посмотрите, пойдут...

– Ради бога, мадам, – сказал Оливейра. – Осторожно, лужа.

– О, я ее знаю, и хозяина тоже – как облупленного. Она из-за Валентина меня ненавидит. Валентин, надо сказать, насолил им... Он терпеть не может старуху с восьмого этажа и как-то ночью, воротясь пьяный, измазал ей дверь кошачьими какашками, сверху донизу разрисовал... Какой скандал был, никогда не забуду... Валентин сидел в ванной, смывал с себя кошачье дерьмо, он и сам весь перепачкался, в такой раж вошел, а мне пришлось объясняться с полицией, столько вытерпеть от старухи и от всего квартала... Не представляете, что я пережила, это я-то, с моим именем... Валентин просто ужасен, большой ребенок.

Оливейра опять увидел господина с седыми волосами, зоб, золотую цепочку. И словно вдруг в стене открылся ход: стоит чуть выставить вперед плечо – и войдешь, пройдешь сквозь камни, сквозь толщу и выйдешь к совершенно другому. Рука сдавливала желудок до тошноты. Он почувствовал, что невообразимо счастлив.

– А может, прежде чем подняться, мне выпить рюмочку *fine a l'eau*, – сказала Берт Трепа, останавливаясь у двери и глядя на Оливейру. – Прогулка была приятной, но я чуточку замерзла, да еще дождь...

– С большим удовольствием, – сказал Оливейра разочарованно. – А может, вам лучше сразу подняться, снять туфли, ноги-то промокли до щиколоток.

– В кафе тепло, натоплено, – сказала Берт Трепа. – Неизвестно, вернулся ли Валентин, может, еще шатается где-нибудь, ищет своих дружков. В такие ночи он становится страшно влюбчивым, просто голову теряет от первого встречного, как уличный пес, честное слово.

– А вдруг он уже пришел и печку затопил, – пустился на хитрость Оливейра. – Теплый плед, шерстяные носки... Вы должны беречь себя, мадам.

– О, я беззаботна, как трава. У меня же нет денег на кафе. Придется завтра идти в концертный зал за *sachet*... <sup>[101]</sup> По ночам с такими деньгами в кармане ходить неосторожно, этот район, к несчастью...

– Для меня величайшее удовольствие – угостить вас в кафе тем, что вам по вкусу, – сказал Оливейра. Ему удалось впихнуть Берт Трепа в дверь; из подъезда несло теплой сыростью, пахло плесенью, а может, даже и грибной подливкой. Ощущение радости потихоньку улетучивалось, как будто оно могло бродить с ним только по улицам, в дом не входило. Надо было удержать радость, она длилась всего несколько минут, и это было такое новое чувство, такое ни на что не похожее: в тот момент, когда он услышал про Валентина, смывающего с себя в ванной кошачье дерьмо, он почувствовал вдруг, что может шагнуть вперед, по-настоящему шагнуть, но ноги тут были ни при чем, просто вступить в толщу каменной стены, войти и спастись от всего этого: от дождя, лупившего в лицо, и от воды, хлюпающей в ботинках. Невозможно понять, как всегда бывает, когда понять просто необходимо. Понять, что это за радость, и что за рука, под кожей сжимающая желудок, и откуда надежда, если, конечно, подобное слово уместно, если, конечно, возможно применить к нему туманно неуловимое понятие надежды, – все это было слишком глупо и невероятно прекрасно, и вот теперь оно уходило, Удалялось от него под дождем, потому что Берт Трепа не приглашала его к себе, а отсылала в кафе, воз-

---

<sup>101</sup> Гонораром (фр.).

вращала в сложившийся Порядок Дня, ко всему тому, что произошло за день: к Кревелю, к набережной Сены, к намерению идти куда глаза глядят, к старику на носилках, к плохо отпечатанной программке концерта, к Роз Боб и воде, хлюпающей в ботинках. Движением руки, таким медленным, словно он сваливал с плеч гору, Оливейра указал на два кафе, разбиравших на углу ночную темень. Но ей как будто уже все расхотелось, и Берт Трепа забормотала что-то, не выпуская руки Оливейры и поглядывая украдкой в сторону тонувшего во мраке коридора.

– Вернулся, – сказала она вдруг и уставилась на Оливейру сверкавшими от слез глазами. – Он там, наверно, я чувствую. И не один, уверена: каждый раз, когда я выступаю на концерте, он путается со своими друзьями.

Пальцы впивались Оливейре в руку, она тяжело дышала и все время оборачивалась, вглядываясь в потемки. Сверху донеслось приглушенное мяуканье, бархатные лапы упруго проскакали по крутой лестнице. Оливейра не знал, что сказать, и, достав сигарету, старательно раскурил.

– У меня нет ключа, – сказала Берт Трепа совсем тихо, почти неслышно. – Он никогда не оставляет мне ключ, если собирается на свои делишки.

– Но вам необходимо отдохнуть, мадам.

– Какое ему дело до меня, плевать ему, отдыхаю я или погибаю. Наверное, затопили печку и жгут уголь, мой маленький запас угля, который подарил мне доктор Лемуан. Они там голые, голые. В моей постели, какая гадость. А завтра мне – убирать, Валентин, наверное, заблевал весь матрас, он всегда... А завтра мне – как всегда. Мне завтра.

– Кто-нибудь из ваших друзей не живет поблизости, чтобы вы могли переночевать у них? – спросил Оливейра.

– Нет, – сказала Берт Трепа, глянув на него искоса. – Поверьте, юноша, большинство моих друзей живут в Нейи. А здесь – одно старое отребье, вроде иммигрантов с восьмого этажа, низкие людишки, хуже некуда.

– Если хотите, я могу подняться и попросить Валентина открыть, – сказал Оливейра. – А вы пока в кафе подождите, все уладится.

– Как же, уладится, – проговорила Берт Трепа заплетающимся, словно с перепоя, языком. – Не откроет он, я его знаю. Будут сидеть в темноте и даже не откликнутся. Зачем им свет? Свет они потом зажгут, когда Валентин убедится, что я ушла ночевать в гостиницу или в кафе.

– Я постучу в дверь посильнее, они испугаются. Не думаю, чтобы Валентин хотел скандала.

– Ему все равно, когда он принимается за свое, ему становится абсолютно все равно. Тогда он готов вырядиться в мое платье и отправиться в полицейский участок, распевая «Марсельезу». Один раз так чуть было не случилось, спасибо, Робер из соседней лавочки вовремя перехватил его и привез домой. Хороший человек был Робер, наверное, у него тоже свои причуды были, вот он и понимал других.

– Позвольте, я поднимусь наверх, – настаивал Оливейра. – Вы подождите в кафе на углу. Я все улажу, нельзя же вам тут стоять всю ночь.

Свет в коридоре зажегся в тот момент, когда Берт Трепа собиралась резко возразить. Берт Трепа отпрянула от Оливейры и торопливо вышла на улицу, а тот остался в подъезде, не зная, что делать дальше. По лестнице сбежала парочка, промчалась мимо, не глядя на Оливейру, и устремилась к улице Туэн. Берт Трепа, нервно озираясь, снова укрылась в подъезде. На улице лило как из ведра.

Не испытывая ни малейшего желания делать это, однако решив, что иного выхода нет, Оливейра двинулся в глубь коридора к лестнице. Он не сделал и трех шагов, как Берт Трепа схватила его за руку и развернула в сторону двери. Мольбы, запреты, приказы, слова и восклицания слились в сплошное неясное кудахтанье. Оливейра позволил увести себя от лестницы, сдался и не возражал. Свет, было погасший, снова зажегся и послышались голоса – на втором

или третьем этаже прощались. Берт Трепа выпустила Оливейру и припала к дверному косяку, делая вид, будто застегивает плащ и собирается выйти на улицу. Она не шевельнулась, пока двое мужчин, спускавшихся с лестницы, не прошли мимо нее, по пути без любопытства поглядев на Оливейру и бормоча pardon [<sup>102</sup>] на каждом повороте. Оливейра подумал, не броситься ли без оглядки вверх по лестнице, но он не знал, на каком этаже живет Берт Трепа. И снова в темноте он яростно затянулся сигаретой, ожидая, чтобы в конце концов что-то произошло или чтобы не произошло ничего. Даже сквозь шум ливня до него все явственнее доносились всхлипывания пианистки. Он подошел, положил руку ей на плечо.

– Ради бога, мадам Трепа, не расстраивайтесь. Скажите мне, что можно сделать, ведь должен быть какой-то выход.

– Оставьте меня, оставьте меня, – шептала артистка.

– Вы совсем измучены, вам надо поспать. Пойдемте в гостиницу, у меня тоже нет денег, но я договорюсь с хозяином, уплачу завтра. Я знаю одну гостиницу неподалеку, на улице Валетт.

– В гостиницу, – Берт Трепа повернулась и посмотрела на Оливейру.

– Конечно, это плохо, но переночевать-то надо.

– Вы хотите затащить меня в гостиницу.

– Я только провожу вас до гостиницы и договорюсь с хозяином, чтобы вам дали комнату.

– В гостиницу, вы хотите затащить меня в гостиницу.

– Я ничего не хочу, – сказал Оливейра, теряя терпение. – Я не могу вам предложить свой дом по той простой причине, что у меня нет дома. Вы не дадите мне подняться к вам и сказать Валентину, чтобы он открыл дверь. Вы хотите, чтобы я ушел? В таком случае – спокойной ночи.

---

<sup>102</sup> Извините (фр.)

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.